

АЛЕКСАНДР ТОРИН

Времена не выбирают

Сборник рассказов

Геликон Плюс
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2005

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ. СПб.: Геликон Плюс, 2005 . 240 стр.

ISBN 5-93682-232-X

© А. Торин, текст, 2005
© Геликон Плюс, макет, 2005

Редактор А. Житинский
Корректор Т. Княжицкая
Верстка И. Бобровой

Подписано в печать 27.09.05 г. Формат 84x108/32.

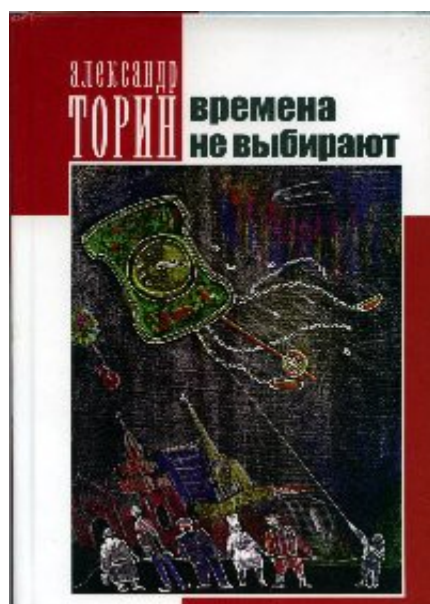
Гарнитура NEWTONС. PRINT ON DEMAND.

Отпечатано в типографии издательства.

199053, Санкт-Петербург, 1-я линия ВО, 28

Тел: (812) 328-63-29

E-MAIL: HELICON@MAIL.RU



Александр Торин: Времена не выбирают (Сборник рассказов)

Сборник точных психологических рассказов Александра Торина, автора романа «Дурная компания», открывает нам мир детства и юности автора, рисует картины того недавнего прошлого, которое мы отставили в сторону, как ненужную вещь, а теперь вспоминаем о нем с удивлением и печалью.

Содержание

| | |
|---------------------------|-----|
| Времена не выбирают..... | 4 |
| Человек с ружьем..... | 19 |
| Лепестки Граната..... | 38 |
| Ангел смерти..... | 52 |
| Прощание с Мухтаром..... | 64 |
| Семечкин..... | 68 |
| Дерево детства..... | 77 |
| Марксисты..... | 85 |
| Картошка..... | 100 |
| Случайные встречи..... | 115 |
| История 1. Мыши..... | 115 |
| История 2. Накладная..... | 119 |
| История 3. Пистолет..... | 123 |
| История 4. Газета..... | 128 |
| Брат..... | 136 |
| Привет, Менгисту!..... | 139 |

Времена не выбирают

1.

Тем шальным летом время нам отсчитывал речной автобус на воздушной подушке. Станный этот плавательный аппарат появлялся из-за песчаного плеса точно в пять минут девятого, когда лес становился розовым в закатных лучах, и над Окой пахло вечерним клевером и разогретой за день хвоей. Корабль взрывал поверхность воды мощными вентиляторами, расположенные над рубкой динамики хрипели радиопозывными "Полевой почты". Спустя четверть века мелодия эта вызывает холодную дрожь в спине, перерастающую в странную ностальгию.

– Всех распугал, чтоб ему пусто было! – Николай Васильевич, жилистый, смуглый мужик с рассеченной пополам бровью, загребал правым веслом, разворачивая лодку носом к волне. – Только рыба покрупнее играть начала...

Николая Васильевича я слегка побаивался. Работал он мастером на оборонном предприятии в Москве, о работе и жизни своей не распространялся, да и вообще был неразговорчив: все время курил свой любимый "Казбек", и хрипло покашливал. Бывают такие люди, ничем особенным не выделяющиеся, но потом вдруг оказывается, что без них никак нельзя.

2.

В конце июня отцу предложили две "горящие" путевки в турбазу на берегу Оки. Что может быть лучше песчаных плесов, костра, бутылки портвейна из сельского магазина, рыбной ловли и, конечно, девушек. Лето в Москве было душным, путевки недорогими, до начала третьего курса еще оставалось два месяца, и мы с Лехой, моим институтским приятелем, в тот же день сложили рюкзаки.

Стояла влажная жара, отдыхающие прятались в тени. В турбазовской столовой кормили теплой окрошкой и компотом из сухофруктов. Рыба ушла: два дня подряд мы с Лехой собирали все душевные силы и вставали в четыре утра, но и это не помогло. От воды пахло теплым илом, казалось, река вымерла. Вместе с рыбой исчезли девушки. За неделю нам попалась всего одна, в очках с выпуклыми линзами. Девушка сидела на скамейке у спуска к Оке и читала "Трех Мушкетеров". Она училась в Бауманке, разговаривала громко, почти-что мужским басом, к тому же оказалась секретарем комитета комсомола факультета мощных холодильных установок, или чего-то в этом роде...

Лодочный поход казался спасением. Две недели на веслах, сухой паек, палатки.

В старой папке для бумаг с розовыми тесемками и тисненой надписью "Дело №", я нашел разлинованную, подмокшую тем летом тетрадную страничку – список туристов длиной в тридцать пять строк, с адресами и телефонами. Народ на турбазе подобрался случайный, со всего Союза. Врач, водитель, библиотечарша, нефтяник, студент, прапорщик, Барнаул, Каунас, Москва, Вологда, Рига, Иркутск, Воркута, Иркутск...

Тридцать шестым участником похода был Миша.

3.

Утром понедельника седьмого июля, двенадцать лодок и тридцать шесть человеческих душ оттолкнулись от деревянного мостика и медленно двинулись против течения.

Нам не везло. Началась гроза, вначале пошел сплошной стеной дождь, потом поднялись волны с пенистыми барашками. Мы зачерпнули бортом воду, с неба посыпался колючий град, налетели порывы ветра, и лодки одна за другой уткнулись носами в песчаную косу.

Под кустами собрались промокшие отдыхающие и турбазовский инструктор. Инструктору, Андрею Петровичу, было лет тридцать, голубой физкультурный костюм его вымок, промок и положенный ему по должности пистолет.

– Андрей Петрович, – у нашего официального походного врача, невозмутимого доктора Розенбергиса, был легкий прибалтийский акцент. На фоне прочих путешественников, доктор выглядел почти что представителем Западной цивилизации. Даже промокшая брезентовая куртка сидела на нем элегантно. Впрочем, скорее всего, дело было в изящных очках в тонкой оправе, чем-то напоминавших Чеховское пенсне.

– Что вам, доктор? – Инструктор нервно курил размокшую сигарету.

– Надо что-то решать. Люди вымокли. Продукты испорчены. Необходимо возвращаться на базу.

– Да какая там база, блин, – инструктор закашлялся. – У нас по плану на сегодня еще двадцать километров до стоянки.

– Андрей Петрович, – акцент у доктора неожиданно усилился. – Я надеюсь, вы понимаете, что двадцать километров в текущих климатических условиях...

– Какие еще такие условия? Смотрите, как все растянулось... Бог, он с большевиками.

Религия и идеология причудливо переплелись в народном сознании. Клочок голубого неба, будто издеваясь над туристами, завис над песчаным плесом, начало парить, даже стало душно, здоровенные градины таяли на глазах, и лодки, оттолкнувшись от островка, поплыли дальше. Со дна реки змеиными клубками поднимался мутно-зеленый ил.

4.

Время – странная субстанция. В нем возникают вихри, водовороты, провалы, сумасшедшие ускорения и вязкое болото... Бывает, что за две недели можно прожить целую жизнь, и до пенсии вспоминать о бесконечном фейерверке событий. Чаше случается так, что за четверть века ничего не произошло, появляется седина в висках, усталость к восьми часам вечера, умирают от инфаркта школьные друзья, и стоит во рту кислый привкус распада.

Мне часто снится, что я возвращаюсь в то лето. Странные реки, шлюзы, лодки и корабли возникают в уставшем сознании. Смешались в этом сне колесные купеческие пароходы, совершавшие во времена моего детства экскурсии Москва– Астрахань, ракеты и метеоры, бороздившие канал имени Москвы, прозрачная вода на песчаном плесе, и русалки, мерцающие призрачным серебром среди деревьев... Снова и снова я оказываюсь там, на этом речном рукаве, неподалеку от Тарусы...

– Та рам, та рам, тара–рарам, тарам–тара тарамтам... – режут динамики. – Московское время восемь часов пять минут. В эфире радиостанция "Маяк". Начинаем программу "Полевая Почта". В нашу редакцию пришло недавно письмо от Зинаиды Ивановны

Голиковой из села "Заречное" Кировской области. У Зинаиды Ивановны два сына. И служат они в пограничных войсках, охраняя рубежи нашей родины. Сережа и Толя Голиковы, если вы сегодня слушаете нашу передачу, то следующая песня – для вас.

– Где ты моя ненаглядная, где? В Вологде–где–где–где, в Вологде–где..

– Ой, да это же все про меня, – Таня, худенькая, с длинными до плеч золотистыми волосами, запоздалыми веснушками, закусывает губу. – Я же из Вологды. И парень у меня – Толя, он во Владивостоке служит.

– Эй, Санек, ты что пил? – Николай Васильевич докуривает свой "Казбек".

– Как это что? Что все, то и я. Бычью Кровь.

– Ты эту отраву брось, вот, держи, только понемножку, и осторожно в себя запуская. Выдыхай, и запивай самое главное... – он протягивает мне алюминиевую кружку.

Огненная вода, коварный спирт, от которого сводит дыхание. Действие у спирта замедленное, но беспощадное. Языки пламени извиваются, угольки улетают вверх, к звездам, и вот–вот появятся из–за деревьев безжалостные всадники с азиатскими глазами. Я будто вижу их, усталых и жестоких, от них пахнет конским потом, засохшей кровью, невымытым человеческим телом...

– Не, мужики, – голос Николая Васильевича возвращает меня в призрачное настоящее. – Сегодня хреново у нас клевало. Хотя, рыба есть. Есть рыбка, вон как она на закате хвостами играет. Иной раз подумаешь, что белуга. Как ухнет, зараза, сердце обрывается.

– Какая тут белуга, Николай Васильевич. Тут даже подлещика не дождешься.

– Не веришь. А ты послушай. Случай у меня был, я еще дитем неразумным с батей на колесном пароходе по Волге плавал. И вот, я на корму вышел. Тогда только Калязин затопили, колокольня из воды торчит. А водичка прозрачная, поля там, деревни. Избушки, стоят, клянусь, видно их тогда было. Но главное не это – в глубине такие звери играют, куда там вашим китам. Огромные, почти что с пароход. Хвостами так и виляют: налево, направо. Жуть меня взяла.

– Ну ты и скажешь, Николай Васильевич. С пароход. Будет заливать–то.

– Да не вру я. Так и не знаю, кто это там плавал. Ну, да ладно. Дело в том, что в прошлом году знакомый мой стерлядку около Тарусы вытащил. Царскую рыбу... Водится она здесь, только наживку не берет почему–то. Отъелась... И ты заметил, только она хвостом бить начинает, как этот катер, мать твою... Речной трамвайчик, так нет, выпендрелись, сделали на воздушной подушке. С авиационными моторами... Ты запивай, запивай.

– Мели здесь, плесы. Иначе, как на воздушной подушке, и не пройдешь...

Костер догорает, остаются лишь угольки, красные, таинственные, отбрасывающие странные тени на алюминиевых чашках, котелке с картошкой и пустых банках китайской тушенки "Великая Стена".

– Ну, будет, – у Николая Васильевича "Спидола" с архаичными желтыми пластмассовыми лучиками и черными, ребристыми колесиками настройки. – Новости послушаем. Может, пока мы тут плаваем, война уже началась.

– По сообщению информационного агентства ТАСС, успешно завершена стыковка космических кораблей "Аполлон" и "Союз". Советские и Американские астронавты, несмотря на принципиальное различие мировоззрений...

– Нет, ну надо же! Да что они так скромно. Они все–таки состыковались! Что вы сидите? Что вы пьете всякую дрянь! Они живы! Вы слышите, они живы! – Миша завелся. – Они состыковались! Там, на орбите, я уверен был, что они погибнут. В тысячах километров друг от друга...

– Он чего, больной, этот ханурик, или принял лишнего? – Серега из Воркуты чиркнул спичкой, и его лицо с недавно отпущенной бородкой, на секунду высветилось в темноте. – С вами, столичными, никогда не знаешь, чего ждать. Я такого гуся однажды встретил, по распределению к нам на шахту направили.

– Чудо. Это чудо, и это вселяет надежду... Представить себе невозможно, с допотопными средствами навигации, архаичными датчиками, и все-таки удалось найти друг друга в этой бесконечности. Состыковаться, да нет же, это удивительно!

– Ты, Миша, помолчи лучше. Не мешай слушать, – начал заводиться Николай Васильевич. – Все-таки историческое событие.

– Космос, вакуум, он пахнет. Тлением, невесомостью, пластмассой, температурой, я не знаю, что именно, но на орбите воняет жженой резиной. Нет, скорее, испаряющейся. И страшно за всех нас. – Миша заплакал.

– Е-мое, – скривился Серега. – только психического нам не хватало.

– Ну, будет, мужики, еще по одной, и спать – командует Николай Васильевич. – За успехи отечественной космонавтики. Пахнет ему, понимаешь... Космонавт... Я настоящих космонавтов видел, к вашему сведению. Вот пошел бы в наш цех, понюхал бы, чем жизнь пахнет.

5.

Двадцать четыре года спустя я жил в Америке и обедал за одним столиком с долговязым американцем лет тридцати пяти. Стив всего месяца три, как вернулся с орбиты – чинил космический телескоп. Рядом с астронавтом вдумчиво разжевывала кекс его гордая мама. Нет, я никогда не был близок к космонавтике, за одним столиком мы оказались случайно. Мой знакомый увидел другого своего знакомого, с которым когда-то вместе работал, астронавт жил в соседнем городке, учился с ним в школе, и так далее. Разговор, как и ожидалось, вскоре перешел на космические темы.

– Нет, я конечно же, боюсь, – признался астронавт. Все-таки, вероятность погибнуть около пяти процентов, и никуда от этих мыслей не деться. Особенно, во время взлета. Но самое страшное, даже неожиданное – это то, что космос пахнет. Невесомость и вакуум пахнут жженой резиной. Синтетической пластмассой. Что-то там испаряется в этих космических лучах.

Было жарко, но ледяные иголочки медленно опускались по спине. Откуда, каким дьявольским образом Миша мог про это узнать?

– Попробуй вот это пирожное, Стив. – Скрипучим голосом произнесла мама астронавта. – С твоим любимым шоколадным кремом.

6.

Когда нас распределяли по лодкам, ребят покрепче разбросали для укрепления слабых экипажей. Леху определили к двум бабам более чем среднего возраста, а мной доукомплектовали жизнерадостную тетку в физкультурных штанах с красными лампасами, из безнадежной провинции.

– Саша, я из Москвы, студент, – представился я.

– Нина Петровна, – энергично взвизгнула тетка. – Учительница я, деток физкультуре

обучаю. А вот в Москве не бывала еще. Надо проведать, столица все-таки... Я, так, Саша, понимаю, что мы с тобой будем гребцы, – шепнула мне на ухо Нина Петровна. – А вот от этого ханурика толку мало выйдет.

От учительницы физкультуры пахло чесноком, разрушающимися зубами и здоровым спортивным потом.

Третьим членом экипажа был странного вида парень. Мише можно было дать лет двадцать восемь – тридцать. Он был ужасно, патологически худ, кожа его, белая с желто-синеватым оттенком, как у бройлерного цыпленка, лицо с веснушками, глаза, изолированные от окружающего мира очками с толстыми линзами, все это вызывало жалость и почему-то брезгливость.

– Мм-миша, – я понял, почему Нина Петровна прозвала его хануриком. – Миша заикался, шмыгал носом, и пару раз дернул шеей. Глаза косили, на щеках его завивались колечками странные бакенбарды, переходившие в белесый пух на щеках.

– Саша, студент.

– Я тоже вечный студ..дент. Считайте, что я в самовольной ака... Ака... Акаддд...

– Академке?

– Вся наша жизнь – это акад..демический отпуск от самих себя...

Миша застревал на согласных.

– Ничего не понял, – смутился я. – Ты о чем, Миша?

– Потому что, от себя не уйти.

– Ааа, – глубокомысленно промычал я. – Ну да, в каком-то смысле...

– Вот я смотрю на нас, и понимаю: все – хорошо забытое старое. Мы бессмысленно копошимся, голоса наши затухают, река течет, и нет ничего нового под солнцем.

Заикание внезапно исчезло, будто его и не было никогда.

– Так, Эклезиаста я еще в раннем детстве читал, – отпарировал я. – Нас этим не проймешь. Предлагаю завязывать с мрачными мыслями, зачерпывать воду веслами и плыть против течения.

– Саша, нам хорошо было бы поговорить в приятном уединении джентльменов, – Миша нервно дернул шеей и лицо его порозовело. – Мне кажется, что мы с вами найдем об... Обб. Щий. Язык.

Мне показалось, что Мишино заикание было связано с нервными подергиваниями шеи. Впрочем, я мог ошибаться.

– Миша, извините, да вас бы Стенька Разин выкинул за борт, что вы болтаете, хуже, чем татарская княжна! – Третий член экипажа боролся со встречным течением. – Загребайте, нас на плес сносит.

– Княжна была персидской, кстати, моей любимой праб-ба-бббушкой.– Передернулся Миша. – Ее звали Арина Родионовна Пушкина.

– Господи, святы, попался же! – Перекрестилась учительница физкультуры. Стыдно, молодые люди, а ведь Ленина в институте изучаете.

– Нет, я решительно балдею, – заика расплылся счастливой улыбкой.

7.

– Мы пов-повторяем типичную ошибку челове-веческих существ. – Миша был освобожден от гребли, и назначен впередсмотрящим. – Правее бы чуточку.

– Какую ошибку, Миша? – я вытащил левое весло из воды.

– Я все пытаюсь найти хоть какой-нибудь смысл в происходящем... В происшедшем и в бу-бу-душем. – Миша выгибал худую шею, и внутри его тела что-то отрывисто щелкало. – Если задуматься, куда и зачем мы плывем?

– То есть? – я удивился. – Отдыхаем мы. Поход у нас, туристический. Путевка.

– Мы плывем из прошлого в будущее. А зачем уставать, если мы отдыхаем? – Миша прижал голову к плечу, что-то внутри у него хрустнуло, и мне стало не по себе. – Не проще ли отдохнуть, если мы устаем? Плыть по течению.

– Это все потому, что молодежь в городах избаловалась, – поджала губы Нина Петровна. И, по моим наблюдениям, чем ближе к столице, тем распущеннее молодые люди и девушки, идеи к ним в голову лезут вредные, и вообще, безобразие сплошное. Вы, Миша, не обижайтесь, но странные какие-то вещи говорите. Столько всего народ наш перенес – и войну, и разруху. Только жизнь кое-как налаживаться начала, а вам, опять все не так. Вот у меня дочка, пошла в техникум...

– Я же ззз... Знаю, что сейчас будет. Вот в чем проблема. Я все заранее знаю. Не хочу, но чувствую. Я с ума от этого сойду, честное слово.

– Миша, успокойся – Мне было неловко.

– Сейчас опять пойдд. дет град, и потом еще один смерч будет. Может деревья повалить... Нам бы к берегу пристать.

– Миша, над нами солнышко. Никакого града не случится, максимум – летний дождик. И мы замечательно приплывем на стоянку, заварим чай в котелке, а завтра утром, ну или вечером, я поймаю здорового сома на донку, и все это ерунда, и полная чепуха.

– Ну, плывите, пп-Пплывите... Я здесь вообще никакой роли не играю. Психическое поле. Мыльный п-п-пузырь.

– Вот видите, – Нина Петровна была возмущена. – Пузырь... Ему в психушку надо, – зашептала она мне на ухо чесночной струей, а их на турбазы пускают. А вдруг этот типчик буйный? Да где это видано, чтобы подобные представители отдых нормальным отдыхающим портили?

– Я ведь слышу все, Нина Петровна, – проскрипел Миша. – Пожалуйста, не гребите с таким китайским усердием, осушите весла... И вообще, Мemento мори.

– Сами вы, извините за дурное слово, китаец, и этот ваш Мори...– обиделась физкультурница и начала мне подмигивать. Она явно искала сочувствия и намекала на то, что Миша болен головой.

Пошел град, вначале мелкий, потом с голубиное яйцо. На третьей лодке кому-то разбило голову, поднялся ветер, и черное облако спустилось на воду. Оно прошло метрах в пятидесяти от нас, вырвало с корнем два старых дерева, нависших над водой, ударились об холм и рассыпалось десятком мелких вихрей.

– Нет, вы подумайте только, он меня китайцем назвал, – возмущалась Нина Петровна.

– Товарищи, – закричал инструктор. – В связи с погодными условиями, мы временно пристаем к берегу. Просьба не разбредаться, поход продолжается. Здание с башенкой – дача музыкального пианиста Святослава Рихтера. Просьба его не беспокоить, товарищ Рихтер нуждается в отдыхе.

Лицо у Миши начало подергиваться, и из глаз потекли слезы.

– Ты чего, Миша? – Вся эта история переставала мне нравиться.

– Да нет, так. Это все равно, как сказали бы где-нибудь в Лейпциге в восемнадцатом веке: "Тссс, господин Бах играет на органе, пожалуйста, громко не сморкайтесь и просьба не икать..." Я все-таки пойду, послушаю тихонько, вдруг он сейчас репетирует...

– Психопат! – Нина Петровна покрутила пальцем у лба. – Уколы ему надо, а не по родному краю путешествовать...

8.

Вымокли люди, набухли влагой концентраты в бумажных пакетиках. Подул вдоль реки ледяной ветер, и в разгар лета пошел в среднерусской полосе мокрый снег с дождем. Куда только девалась душная жара...

– Андрей Петрович, надо бы костер развести. Люди насмерть простудятся. – доктор из Каунаса заботился о коллективе.

– Нам еще восемь километров.

– Темнеет. Давайте встанем здесь, хорошее место. Поворот реки, поляна.

– Я сказал, не положено, – начал заводиться инструктор. – Сказано, восемь километров надо пройти, значит – надо!

– Ты, инструктор, много себе позволяешь. – Николай Васильевич закусил подмокшую "Казбечину". – Устали люди. Холодно им, пойми. Не пройдут они еще восемь километров против течения. Тебе что, Андрей, ЧП не хватает? А вдруг утонет кто-нибудь, или воспаление легких подхватит, тебе же отвечать придется.

– Блин, умные все стали. А мне потом на базе рассказывать, мол, дождик пошел, вот до стоянки и не доплыли.

– Да не нервничай ты, смотри, солнце садится.. Обсушимся, а с утречка дальше пойдем.

– А я говорю по лодкам! – Инструктор вытащил из рюкзака пистолет. – Я здесь команду.

– Ну, давай! – Николай Васильевич пошел прямо на него. – Стреляй, принимай грех на душу.

– Назад! – взвизгнул инструктор.

– Дурак ты, – у Николая Васильевича появилась на лице странная ухмылка. – Жалко даже тебя, Андрюша. Что ты знаешь обо всем этом. Отдавай лучше пистолет по-хорошему, нашел себе игрушку.

– Не положено!

– Отдавай, говорю. Вот и славно. – Пистолет оказался у Николая Васильевича. – Слушай меня, ночуем здесь, надо палатки ставить и костерок хорошо бы развести. Кто умеет палатки ставить? Остальные – в лес, за хворостом. Возьмите с собой пару канистр. Если найдете родник – набирайте, если нет – вскипятим на костре речную воду. – Давай, давай Андрей Петрович, подсоби людям, ты же в походах человек опытный. А за пистолет не переживай, остынешь – тотчас отдам, он мне на хрен моржовый не нужен.

9.

– Этот Николай Васильевич – человек удивительный, – Миша был воодушевлен. – Тоже, конечно, не без выкрутасов, но молодец.

– Ты давай, очкарик, хворост собирай, – Серега, шахтер из Воркуты, был раздражен. – Сухой, желательно. Ты вообще, ханурик, костер хоть раз разводил?

– Сергей, я уваж-жаю ваш тяжелый труд в забое, но все же...Что вы себе позволяете?

– Ну, е-мое, начинаются столичные штучки! – Сергей неожиданно начал заводиться. – Да предложи они мне в те годы в Москву переехать, я бы ни за что не согласился. Нет, не по мне это. Потому что вы там, в городе, глотки друг другу

перегрызете. Кровососы. Чокнутые все. И ты один из них. Посмотри на себя, физиономия прыщавая, зеленый весь, как фантомас.

– Господи, – Миша присел на упавшее дерево. – Зачем, откуда эта ненависть?

– Ты смотри, ханурик, какая елка шикарная. Сушняк, для костра в самый раз. Только не замочи по дороге, – Серега заржал. Вроде и культурный ты человек, а Богу молишься, будто моя неграмотная прабабка. Та – все повесит в углу иконку, и ну креститься, с утра до ночи. На лбу мозоль натерла. Молодые грехи, говорят, замаливала.

10.

Наконец, кое-как поставили палатки. Сырые поленья трещали, в котелке бурлил суп из сушеных грибов с картошкой. Чуть позже открыли пять банок "Завтрака Туриста", вскипятили чай, приняли обогревающих напитков и начали расходиться по палаткам.

– Саша. Извините. Нам надо поговорить. – Кто-то теребил меня за ногу.

– Миша, это ты? Побойся Бога. Пол третьего ночи.

– Ты тоже считаешь, что я сумас-шедший? Ну, скажем так, со странностями?

– Ничего я не считаю. Давай лучше поспим.

– Я такой же, как и все. Просто знаю больше, но не в этом дело.

– Слушай, Миша, будь другом...

– Через несколько лет начнется война. Постарайся на нее не попадать, все это будет страшно и надолго. Никому не верь. Начнут призывать, – выкручивайся, повестки теряй, уезжай куда-нибудь.

– Миша, оставь меня в покое. Какая война? С кем, с Американцами? С Китайцами? Ерунда, если что-нибудь не дай Бог случится, то две атомные бомбы, и ползи на кладбище.

– Мужики, дайте же поспать человеку! – Леха был в нашей палатке третьим. – Завтра трепаться будете, имейте совесть!

– Саша. Скажи, почему меня никто не любит?

– Миша, ты же знаешь, с оракулами такое случается. Хотя, со смерчем ты здорово угадал. Ты как это делаешь?

– Ты все равно не поймешь и не поверишь. Пока! – Миша вскочил и бросился в кусты, которыми порос речной берег. Я с досадой вылез из палатки. Берега не было видно, над водой поднимался туман. Кто-то плюхнулся в воду, засопел и начал отфыркиваться.

– Миша? – позвал я.

Где-то в тумане смеялась девочка, от хрустального голоса ее почему-то немели ноги.

– Миша! – мне стало жутко. Ветки хлестали по лицу, туман спускался с неба серебристыми рукавами, казалось, что я в нем тону. Опять этот хрустальный колокольчик, – я задержал дыхание.

– Что вы делаете, Сергей Иванович!

– Танечка, вы даже не представляете себе, как скучна жизнь в Заполярье. Олени, да чукчи.

– Это, которые в чуме рассвета ждут? – женский голосок удалялся.

– Я, Танечка, скажу вам прямо, – бубнил Серега. Потом стало тихо, и слышно было, как журчит вода, спотыкаясь о мозолистые корни упавшего в реку дерева.

– Если завтра в поход, – жизнерадостно отфыркиваясь, буркнул незнакомый голос, что-то большое ударило по воде хвостом, и начали петь птицы.

11.

– Как все–таки хорошо, товарищи, – Нина Петровна получала от процесса поглощения пищи полноценное физическое удовлетворение. – Вот так, покушать горячее на природе. Ничего больше не надо. И я вам скажу, вкуснее всего – наш ржаной хлеб. Потому народ русский и сильный такой, что черный хлебушек кушает.

– Вынесет все, – шептал Миша. – Коня на скаку остановит.

– Рыба играть начинает. – Николай Васильевич рассматривал хитроумную блесну с красными перышками. – Доедайте, да и по лодкам.

– Я очень люблю рыбку поудить, – Таню укусил слепень в ногу, и она, забыв об условностях, откинула юбку и остервенело расчесывала красный холмик. Бедро ее было покрыто нежным, едва заметным рыжеватым пушком – Возьмете меня с собой?

– Богиня, языческая богиня, – возбужденно бормотал Миша. – Только в провинции еще встречаются такие девушки. Как она непосредственна. Какая грациозность в каждом движении. Я посвящу ей поэму.

– Танечка, о чем разговор. – Серега докуривал сигарету. – Вы умеете забрасывать спиннинг?

– Нет, Сергей Иванович, не пробовала никогда.

– Ну что вы, это же так просто... Представьте, что моя рука – это удочка. Берите, вот здесь...

– Сергей Иванович, – хихикнула Таня.

– Да как он смеет, – Миша покраснел. – Этот неан–ндерталец в физкультурных штанах. Он что, думает, что раз у него полярная надбб–авка, так ему все позволено?

– Да, – развивала мысль Нина Петровна. – Вот иностранцы ржаного хлебушка не кушают, и хилые все. Потому что воли к жизни у них нет. Да и природы такой – ведь где такую красоту еще найдешь...

12.

Чуть ниже нашей стоянки, посередине реки, течением намыло островок. Песчаный пляж с золотистой водой, полоса низкорослого речного кустарника, и сосновый лес. Островок этот привлекал одиночек, похожих на нас с Валерием Аркадьевичем.

Валерий Аркадьевич был приземистым, спортивным, всегда гладко выбритым. Он излучал здоровый оптимизм. Бывают такие люди: стоило только оказаться рядом с ним, как хотелось вставать в пять утра, умываться ледяной водой из умывальника, отжиматься пятьдесят раз, пробежать пять километров, и появляться к завтраку полным жизненной энергии. Бывший полковник инженерных войск, он ушел в отставку и работал в столичном НИИ. Несмотря на армейское прошлое, оказался Валерий Аркадьевич умницей, интересным собеседником, и чуть ли ни диссидентом. Впрочем, мой сокурсник Леха подозревал в нем стукача и провокатора.

– Ну, как решили? Плывете с нами на остров, Алексей? – осведомился Валерий Аркадьевич.

– Спасибо, я лучше рыбку с народом половлю, – уклонился от предложения Леха. – Не буду отрываться от коллектива.

– Коллектив, – пыхтел бывший полковник, вытаскивая лодку на берег. – Еще чуть–чуть подтолкните, Саша. Да, коллектив – это собрание идиотов, навязывающих свою

волю разумным существам. Нет, прогресс делается одиночками. Изгоями, людьми невыносимыми, шизофрениками. Любой коллективизм вреден для эволюции. Вот почему Америка процветает, а все мы сидим в глубочайшей заднице! Попробуйте, докажите мне, что я не прав!

– Я, честно говоря, не знаю. По всякому бывает.

– Ерунда! – Возмутился Валерий Аркадьевич. – В душе вы все знаете, вы просто признаться боитесь. А бояться вам вредно, от страха атрофируется мышление. Пройдет лет десять–пятнадцать, и ваше поколение окажется на нашем месте. И вам придется принимать решения, отстаивать свою точку зрения. Будете мямлить, стесняться, бояться за свою шкуру – стране хана. Черт побери, это еще что такое! – Валерий Аркадьевич едва не наступил на что-то пыхтящее, копошащееся в высокой, по пояс траве.

– Ой, товарищи. Надо же, сколько ни смотрю, удивляюсь, какая она замечательная, наша русская природа. Вот так вот, лежишь, смотришь в небо... И вы, как посмотрю, тоже любуетесь. – Нина Петровна вскочила и сконфуженно отряхивала физкультурные штаны с лампасами. Рядом с ней обнаружился лежащий на спине Серега-шахтер в расстегнутой рубашке.

– Угу, – недовольно подтвердил Сергей Иванович, покусывая в зубах травинку. – Такая природа вокруг, просто заебись.

13.

– Я завидую вам, – на следующий день Миша набился к нам в попутчики. – Вы не задумываетесь над тем, что вас окружает. Вы принимаете все, как есть. А у меня так не получается. Я чувствую время, его ус-словность, пустоту и ограниченность.

– Что вы несете, Миша, – возмутился Валерий Аркадьевич. – Мы ведь с вами взрослые люди. И потом, мы живем далеко не в худшие времена. Да не так уж давно за такие разговоры, которые мы сейчас ведем, можно было загреметь на полную катушку, сами знаете куда.

– А мне все равно грустно. Я всюду чувствую себя чуж-жеродным телом. Нет, я понимаю, надо принимать правила игры. И так одиноко, и тоскливо, и знаешь заранее, что все обречено и не имеет никакого смысла. Время вязкое, течет, зат-тягивает, дышать нечем. Я тону в нем, задыхаюсь, я с ума с-схожу! Попробуйте себе на секунду такое представить.

– Это у вас от нездорового образа жизни нервы расшатались.

– Да нет, вы ничего не понимаете.

– Все я прекрасно понимаю, Валерий Аркадьевич начал сердиться. – Вы, Миша, не обижайтесь, но вы выбрали удобненькую позицию. Все не имеет никакого смысла, все заранее обречено. Чушь! Обломовщина! Да в самые страшные времена находились люди, ставившие себя выше обстоятельств.

– Мне грустно, я чувствую буд-дущее. Оно ничуть не лучше прошлого, даже хуже в чем-то.

– Я бы на вашем месте поменьше всякой фантастической макулатуры читал. Бросьте вы, Миша, займитесь чем-нибудь интересным, физикой, например. Бегайте по утрам, отжимайтесь хотя бы раз по двадцать, и всю вашу меланхолию как рукой снимет.

– Один хорош-ший поэт написал когда-то гениальную строчку. – Миша прикрыл глаза. – Времена не выбирают. В них живут и умирают.

– Интеллигентские сопли, – Валерий Аркадьевич завелся. – Живут – да,

умирают – нет. Потому что идеи, дух человеческий, разум...

– Ну да, ну да, я знаю, что вы сейчас скажете, и даже не хочу с вами спорить.

Мы дошли до поляны, поросшей высокой травой.

– Ой, мамочка. – Таня, голая и покрасневшая, выпорхнула, как испуганная перепелка из-под ног, и, взвизгнув, исчезла в кустах. Все заняло доли секунды, будто ударила молния, и высветила женскую фигуру с прижатыми к обнаженной груди руками. Грудь у Тани были маленькими и острыми, с напряженными розовыми сосками.

– Шляетесь здесь, задолбали уже, – Серега подтянул штаны. – Нет, я не понимаю, вам чего, гулять больше негде?

– Вы, вы, – Миша начал подергиваться. – Как вы пос-смели?

– А не твое дело, ханурик. Может, у нас любовь. – Ухмыльнулся Серега.

– Я выз-ываю вас на дуэль!

– Да пошел ты, дурачок, – Серега поднялся с земли и лениво побрел к опушке.

14.

Мишу рвало, потом у него начались судороги, напоминавшие эпилептический припадок, и пошла слюна изо рта..

– Держи, держи его, чтобы не захлебнулся, – рычал Валерий Аркадьевич. – Вот экземплярчик, твою мать, совсем мозги набекрень! Нелепый какой-то, с ног до головы..

Судороги начали ослабевать, и Миша повис у нас на руках.

– Начитался всякой ереси! – Валерий Аркадьевич никак не мог успокоиться. – Нашел себе прекрасную Дульсинею! Втюрился в провинциальную рыжую девку, это с его-то комплексами. Теперь еще дуэль ему подавай..

– Голова, – застонал Миша. – Больно. Почему так больно?

– Осторожно, только не ворочайся – мы перетащили обмякшего Мишу к лодке.

– Ну что, отошел немножко? Давай, чайку горячего попей. Эк тебя прихватило, ты что, парень?

– Оставьте меня, – Миша отвернул голову, уткнувшись в брезентовый край палатки.

– Ты мужик, или нет? Нельзя же так. Влюбился, ну и сказал бы Тане этой напрямую. Да она даже не знала про тебя ничего.

– Я ничего не хочу.

– Смазливая девка, молодая, парень ее в армии, далеко, а тут... Обычная история, на отдыхе еще не то бывает.

– Не см-ейте называть ее смаз-зливой! – Миша начал подергивать шей, заикаться, и, вдруг развернувшись, закатил Валерию Аркадьевичу пощечину.

– Так, знаешь что дружок, пошел ты куда подальше... – Валерий Аркадьевич поставил кружку с чаем на землю. – Пока не придешь в себя и не извинишься, разговаривать с тобой отказываюсь.

– Ты чего, Миша, свихнулся, что ли? Да мы тебя еле до палатки дотащили! – возмутился я.

– Да что он понимает, – Губы у Миши скривились. – Что вы знаете, черт бы вас всех побрал! Кому из вас какое дело до того, что я чувствую, а ведь я живой человек! Да, я странный, я больной, возможно, но я живой!

– Слушай, ты успокойся. Все образуется.

– Впрочем, что это я... Да, я люблю ее. Глупо. – Миша начал едва слышно лопотать,

будто в бреду. – Зачем я ей нужен. Ж–жалко. Будущее жалко, хотя оно и так страшное. Нет, все–таки я прав. Все не имеет ни ма–малейшего смысла. А теперь оставь меня одного, пожалуйста... – Миша закрыл глаза. – Я устал. Я хочу спать и видеть сны. Сны о чем–то большем.

– Ну давай, отдохни, – мне стало неловко.

– Шарик, шарик, блестящие. Извиваются. Взрываются фейерверками рассудка. И рядом огромный елочный шар, голубой, с серебряными звездочками. Мне мама его купила на Новый Год... И я подумал: магазин "Галантерея", а он – как Юпитер, всех нас раздавит.

В тот момент я понял, что Миша действительно психически нездоров.

15.

Ночью страшно закричала Таня. К тому моменту, когда я выскочил из палатки, все было кончено. Серега матерился и грозился прибить "этого недоноска". Из руки у него торчал кухонный ножик, которым разделявали рыбу на кухне.

По словам Тани, Миша подстерег их с Сергеем на берегу реки и пытался ее поцеловать. Серега оторопел вначале от такой наглости, потом схватил Мишу за плечо и получил удар ножом. Увидев кровь, Миша заплакал, бросился в воду и уплыл в неизвестном направлении.

Доктор Розенбергис нож вытащил и перевязал Сереге руку. Рана, по его мнению, была не опасной. Брови у доктора хмурились, он был недоволен происшествием и плохим качеством перевязочного материала.

Миша не возвращался. К вечеру его начали искать – съездили на островок, прошли вдоль берега в поисках чего–либо подозрительного, добрались до деревушки, расспрашивая у местных, не видели ли они странного гражданина.

На следующее утро об исчезнувшем сообщили в милицию. Приехал сельский участковый, облазил кусты на берегу, ничего не нашел, и составил протокол.

– Я сразу, как его увидела, так и поняла, что ничего хорошего от таких ждать не приходится, – в тысячный раз повторяла Нина Петровна. Она старалась не смотреть мне в глаза. – А все из–за этой, – недобрительно поджимала она губы и голос ее становился слащавым и неестественным. – Если бы не гуляла с кавалерами, так и отдохнули бы все спокойненько.

Инструктора вызвали в город расследовать ЧП. К вечеру он не вернулся, и роль руководителя в очередной раз взял на себя Николай Васильевич. Никакого настроения продолжать поход ни у кого не было, и на следующий день группа самовольно вернулась на турбазу. Плыли мы на этот раз по течению, и добрались до пристани быстро, всего за несколько часов.

Выяснилась странная подробность: никто не знал Мишиного адреса и места работы. Паспорта его не нашли, в рюкзаке остался только свитер и брезентовые штаны. В турбазовской анкете графы с адресом были оставлены пустыми, и регистраторше объявили строгий выговор за служебную халатность.

Поскольку утопленника не нашли, а рука у Сереги через несколько дней зажила, дело заглохло само собой – все решили, что Миша попросту испугался и сбежал.

Мне почему–то казалось, что Миша утонул. Чувство это было странным. Река, столь приветливая и светлая, теперь почему–то представлялась мне зловещей. Я не мог

заставить себя зайти в воду, с отвращением глядя на щупальца водорослей, покачивающихся у деревянных мостков. К вечеру я старался отойти подальше от берега, и в голове нет, да и возникали трусливые мысли о том, что сумасшествие может быть заразным, как вирус...

16.

За день до отъезда, лодочно-туристическая группа собралась на прощальную пьянку. Набрали грибов, зажарили их на костре, кинули на сковородку картошку с луком, обильно полив ее подсолнечным маслом. Николай Васильевич даже умудрился охмурить турбазовского шофера и сгонять на УАЗике в районный центр за водкой и консервами. Все обменивались адресами, и я с некоторым испугом представил себе, как в родительскую квартиру приезжает Нина Петровна "проведать" столицу.

– А все-таки хорошо отдохнули, – подвела итог Нина Петровна. – Ну, не без приключений, но главное, что все обошлось. А какая уха наваристая получилась! Так и вспоминаются басни Крылова.

– Надеюсь, еще встретимся, Саша, – Валерий Аркадьевич пожал мне руку. – Звоните, не пропадайте.

– Ну, еще по одной, и фотографию на память. – Серега суетился, прилаживая фотоаппарат на свежем пеньке. – Десять, девять, – механический затвор зажужжал. – Восемь... – Серега подбежал к нам и присел на корточки. – Не плачь, Татьяна, Я тебе письма писать буду. В Вологду-гду. Четыре, три... Сейчас птичка вылетит!

В турбазовской столовой случился ремонт. Столы сдвинули в угол, цементную стенку расписывал странного вида мужичок в малярном комбинезоне. Поразили меня его безумные глаза, смотревшие в одну точку. Рисовал мужичок с неправдоподобной скоростью. На стене одна за другой появлялись странные рыбы с когтями вместо плавников, в лодках сидели люди-младенцы с огромными головами, покрытыми белесым пушком, а женщина на дне реки прижимала к себе ребенка с русалочьим хвостом.

17.

Мы возвращались в Москву. Водитель рейсового автобуса попался неопытный. За городом он еще как-то справлялся с управлением, но, доехав до кольцевой, начал нервничать. Автобус проскочил пару светофоров на красный свет, и на очередном перекрестке врезался в черную "Волгу". Удар был боковым, никто не пострадал, только попадали с полок рюкзаки и авоськи. Из "Волги" вылез генерал в штанах с красными лампасами, напомнив мне о Нине Петровне, резко запахло разлившимся по асфальту бензином.

Мы с Лехой взяли рюкзаки и пошли пешком до ближайшей станции метро. Там мы распрощались, договорившись встретиться за пару дней до начала семестра и выпить пивка. Леха исчез в подземном переходе, а я закурил сигарету и решил немного пройтись.

Улица была пыльной, сталинские дома с бойницами балконов нависали над железнодорожными переездами, воздух пах металлической стружкой и горячим битумом.

Из проходной выходили отработавшие смену женщины со странными прическами. Их помутневшие и потрескавшиеся на сгибах ярко-красные босоножки, ситцевые платья с карманчиками и пестрые сарафаны показались мне убогими.

Почему-то я начал замечать, что у окружающих меня людей странные лица. У большинства из них на физиономиях было одинаковое выражение, строгое, слегка скорбно-озабоченное, какое бывает на похоронах нелюбимого родственника. И стало вдруг душно и жутко. Дыхание мое перехватило. Время остановилось, и пришло странное чувство того, что все это уже было. Я как будто смотрел знакомое кино, виденное десятки раз: толстая бабка в грязно-зеленом сарафане остановилась и начала рыться в сумочке, полные руки ее колыхались, как медузы. Из магазина вышла усталая женщина в темно-синем платье с цветочками и тяжелыми цыганскими серьгами в ушах. Она тащила ячеистые сетки с грязно-бежевыми бумажными свертками. Из сеток на раскаленный асфальт капала кровь, свертываясь мутным белком.

18.

История, происшедшая тем летом, постепенно забылась под пластами времени. Время от времени что-то всплывало в памяти, каждый раз вызывая суеверное покалывание ледяных иголок в спине. Так было, когда началась афганская война. Потом я услышал один из первых дисков "Аквариума" и вдруг вспомнил, что Миша в бреду мечтал увидеть "сны о чем-то большем". Были и еще совпадения, всего не упомнишь.

Этим летом я наткнулся на статью, посвященную двадцатипятилетию стыковки кораблей "Союз"- "Аполлон". Что-то там писали про то, что стыковка эта была пропагандистским актом, обошлась налогоплательщикам чуть ли ни в миллиард долларов, и вообще чудом состоялась из-за каких-то технических неполадок.

Вспомнился мне случайно встреченный американский астронавт, космос пахнущий резиной и пластиком. Четверть века! Полезла в голову всякая чепуха, про ночь, улицу и фонарь, потом подумалось, что еще немного, и наступит старость. Я выпил рюмку коньяка, и начал рыться в картонной коробке, набитой старыми бумагами. В доисторической папке обнаружился чудом сохранившийся список участников похода и надорванная фотография, сделанная на прощальной попойке.

На старых фотографиях поражают детали. В каждой эпохе у людей свое, ни на что не похожее выражение лица. Как непривычно мы тогда одевались. Вот и герой-любовник Серега из Воркуты. В памяти он остался совсем другим, без этого советского пробора. Таня, совсем еще девочка, в широком ситцевом платье и уродливых туфлях. Да и я сам, неужели я так глупо выглядел? Хоть бери и прямо сейчас посылай на стройки коммунизма. Какие странные у всех глаза, далекие, обреченные и пустые, как будто рассматриваешь фотографии начала века. Уже прошлого, черт возьми.

И вспомнился жаркий день, старуха в зеленом сарафане, кровь, капающая на асфальт Московской улицы, пробежал озноб по спине, и дежавю, наконец, замкнулось в бесконечную временную петлю.

– Времена не выбирают, – пробормотал я. Темно-синий томик "Избранного" Кушнера стоял в книжном шкафу. – В них живут и умирают...

Я тупо смотрел на дату: 1978 год. Выходит, что тем летом Миша цитировал строчку из будущего, написанную три года спустя. Ерунда, скорее всего, это простое совпадение. Опечатка. Или, возможно, стихотворение было написано раньше и несколько лет не публиковалось.

*Крепко тесное объятье,
Время– кожа, а не платье,
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.*

Человек с ружьем

1.

Кажется, этот город стоял и будет стоять неизменным. С улицами Ленина и Первомайской, с рынком у железнодорожной станции – этим провинциальным центром жизни и сплетен. С перроном и вокзальными часами еще от царской власти.

Не город, а так, городок. Угрюмые дома красного кирпича, построенные пленными немцами в конце войны. Дом культуры, этакий местный Парфенон желтого цвета. Кусты шиповника и голубые ели около Горсовета.

А еще он был полон запахов – так всегда бывает в детстве. Рынок дышал солеными огурцами и свежими вениками. Подъезд – фиолетовой сыростью и квашеной капустой. Парикмахерская на Первомайской – сладким одеколоном и приторной пудрой. Новый Год – мандаринами, хлопучками, смолистой елкой и конфетами в подарочных наборах. Книжный магазин – глянцевыми плакатами и дермантиновыми школьными тетрадками.

С плакатов на посетителей смотрел Ульянов–Ленин во всех своих ипостасях: от курчавого мальчика–ангелочка Володи, строптивного отрока, заявившего испуганной маме «Мы пойдем другим путем», до изможденного дедушки в картузе рядом с архаичного вида тетенькой. Тетенька напоминала мне нашу дальнюю родственницу, к которой меня бабушка пару раз таскала в гости. У нее в квартире всегда пахло пылью и лекарствами, поэтому в гляцевый запах мелованной бумаги тоненькой струйкой вливался аромат валерианового корня, бумажных цветов и пряного увядания.

2.

Поездки в Москву разрушали размеренную патриархальность. Суэта переполненного перрона распластывала меня толстой теткой с корзинами, одуряющими прелой гнилью и селедкой. Очумленное пробуждение происходило в тамбуре – от кислого аромата табака.

– Помни, ты должен вести себя прилично, спрашивать разрешения, говорить пожалуйста, вилку держать в левой руке, нож – в правой, – почти кричит откуда–то из–за чужих спин бабушка. И вот, наконец: – Саша, пора выходить.

Ноги и руки скованы свинцом, прелая корзина вдавила меня в поручни.

Чудом я вырываюсь и... остаюсь один на перроне. Идет мокрый снег. Слева от меня – пути, справа – маленькая свалка, впереди, в тупике, – несколько ржавых коробок–гаражей. Я стою под бетонным столбом уличного фонаря.

Пространство высвечивается конусом падающих снежинок, и я неожиданно вспоминаю будущее. Вернее, это прошлое, потому что я вижу сон. На этой станции я окажусь еще много раз. Рядом построят здание ГАИ, в котором я буду сдавать экзамены по правилам движения. А на этом самом пятачке перед гаражами школьники будут тайком пить пиво, целоваться с девочками и курить сигареты. И я буду одним из них.

3.

В коридоре отчаянно пахло глянцевыми плакатами из книжного магазина. Пачка их занимала старое оцинкованное корыто, в котором соседка кипятила белье. Дедушка Ленин лежал в гробу. Вокруг скорбели революционные матросы. Но мешала примесь чего-то неистребимо жизненного – свежая капуста, мозговая косточка, корень петрушки... Букет этот бесстыдно вытекал из-под двери соседей. Означало это одно: тетя Клава варила щи.

Продавщица канцелярских принадлежностей, плакатов и всяческих учебных пособий, наша соседка по коммуналке тетя Клава, была замужем за дядей Ваней, вернее Иваном Алексеевичем, инженером стройтреста.

– Ну что, школьник, трудно учиться? – она появилась из-за двери, укутанная в сизое облако явно гастрономического свойства – в нем были винегреты, салаты, борщи, наваристые бульоны, каши гречневые и перловые, жаркое домашнее, холодец и заливное. Сама тетя Клава почему-то пахла грудным молоком.

– Не-а, тетя Клава, легко.

– Есть-то хочешь?

– Спасибо, я уже пообедал, благодарю Вас. (Так учила меня отвечать бабушка.)

– Да брось ты эти словечки, щи хлебать будешь? Я только что сварила.

– Спасибо, тетя Клава. Буду.

– Вот и молодец, это я люблю, когда дети кушают. Мой-то, Димка, не жрет ничего, приходится силой впихивать. Сидит, засранец, полный рот набирает, а как отвернусь – он под стол, на газетку выплевывает. На плакаты просто так засмотрелся или хочешь чего?

– Мне задали про Ленина стенгазету выпустить.

– Они бракованные из Москвы пришли, Ленина вверх ногами напечатали. Говорят – выкидывайте, а я сохранила на всякий случай. Бери, сколько надо. Вырежешь, наклеишь. Ленин, он и вверх ногами – Ленин, особенно если его перевернуть.

– Спасибо, тетя Клава, – я прижал к груди глянцевый плакат, пахнувший ладаном и валериановым корнем.

– Приходи вечером с Димкой поиграть.

– Спасибо, приду.

4.

Димка рос рыжеватым амбалом с веснушками. Никто не мог понять, на кого он похож, худощавая соседка из третьей комнаты тетя Галя с язвительными морщинами на щеках утверждала, что Димка – вылитый зам. председателя Горисполкома товарищ Дубовой. И именно по этой причине Ивану Алексеевичу и Клавдии Васильевне в прошлом месяце дали ордер на отдельную квартиру в новой пятиэтажке.

– Вы, Галина Алексеевна, не имеете права так плохо думать о Советской Власти, – возмущалась бабушка.

– Я? Я плохо думаю о Советской власти? – Тетя Галя надувалась и краснела, как рыбка-петух в период спаривания. – У меня муж на фронте погиб! Я в эвакуации в Сибири под открытым небом работала!

- Кушай, Саша, не слушай ее.
- Развели здесь интеллигентность... Над рабочим человеком измываются.
- Сейчас, – бабушка пошла в нашу комнату.
- Я с тобой, – гречневая каша осталась остывать на тарелке.
- Это не твое дело, – бабушка копалась в своей заветной кожаной сумочке, истертой до сухожилий. – Марш на кухню, и чтобы кашу доел.
- Не хочу.
- Как тебе не стыдно! Сестра твоей матери умерла от голода. Я бы все на свете тогда отдала за тарелку гречки, а ты... Вот, нашла.
- Что это?
- Удостоверение блокадника. Пусть она мне попробует хоть одно слово сказать, хабалка.

5.

У Димки в картонной коробке лежали изумительные игрушки. Немецкая пожарная машина красного цвета. Волчок с лошадками, испускающими огненные искры. Самострел – добротный, с крючком из прочной стали и упругой резины белого цвета – мечта дворовых мальчишек.

Этот пацан с рыжими веснушками был добр и общителен. Однажды он подарил мне моток заветной самострельной резины. Брат тети Клавы работал на районной фабрике игрушек, и резины этой у них было завались.

Потом Димка подрос и превратился в обычного любителя портвейна и папирос «Дымок».

Одна из девятиэтажек, построенная дядей Ваней в середине семидесятых, начала оседать. Назначили правительственную комиссию, обнаружили хищения, и Ивана Васильевича посадили на пять лет.

Помню, как тетя Клава приезжала к нам в коммуналку в гости, показывала бабушке письма, отправленные в ЦК КПСС, о чем-то советовалась.

А мы с Димкой часто ловили рыбу. В заливчике канала им. Москвы в те годы неплохо клевали окуньки с полосатой спинкой.

Я заканчивал десятый класс и думал о будущем – выпускных экзаменах и институте. Димка переходил в восьмой и был озабочен девушками.

– Вот если бы была война, – он мечтательно забрасывал удочку. – И наши заняли бы немецкий городок. Уж я бы этим фашистам показал, я бы их всюду прижимал. В лифте, на улицах, в окопах. Уй, что бы я с ними делал...

Через три года Димку призвали. В Афганистан.

Отец его уже умер в заключении от воспаления легких. Тетя Клава все продолжала писать ходатайства в ЦК. Только с просьбой об увеличении пенсии.

Накануне отправки в Ташкент Димка ночевал у нас дома.

– А чего, послужу, – бодрился он. – Не всем же умными быть, кому-то надо и родину защищать. А это, кстати, тебе, на память. Помнишь, как мы вместе играли?

Под стеклянным колпаком прыгали наездники. Кремень стерся, лишь изредка из-под копыт игрушечных лошадей высекались тусклые искорки.

Дима вернулся домой в запаянном гробу. Я не увидел его мертвым.

6.

Смерти я боялся.

Смерть была чем-то неприятным и пугающим – вроде Александра Валериановича, высокого, бледного старика со слезящимися глазами из нашей огромной многосемейной квартиры. Во дворе его побаивались, считая немного сумасшедшим и даже колдуном.

Он подчас бывал пьян, – в пенсионные дни. В отличие от шумных, рвущих рубаху на груди соседей, он, как правило, пил где-то один, потом добирался до скамейки, стоящей около подъезда, и дремал на ней, как крокодил, греющийся на коряге, изредка приоткрывая глаза.

Помню, как соседские мальчишки начали его дразнить. Старик на малышню не реагировал, только время от времени просыпался и строил страшные рожи.

– Пьяница, просыпайся! – Расходились дворовые бузотеры. Полетели комья земли.

– Ну все, терпение мое лопнуло! – взревел старик и неожиданно проворным движением вскочил со скамейки. Росту в нем было под два метра, и худая фигура в старом распахнувшемся от резкого движения пальто вызвала суеверный ужас.

Мальчишки с воплями бросились врассыпную, а Димка замешкался. Он был неуклюжим толстяком, и колдун поймал его за шкурку.

– Ага! Попался! Смерть твоя пришла! – Вытаращил глаза старик.

– Нееет! Не хочу! Мама! – Димка затрепыхался от ужаса.

– Сейчас зажарю на сковородке, – шипя продолжал колдун. Я жирненьких люблю.

Вдруг глаза у Димки остекленели. Он отключился.

– Эй, дурачок! Да шучу я, шучу. Ты что, честное слово! – Старик уложил Димку на скамейку и легонько хлопал его по щекам. – Вот что значит – меры не знать, когда своих детишек Бог не послал. Да не съем я тебя, дурачка!

Димка начал приходить в себя. Увидев перед собой лицо соседа, он снова затрясся, и свалился со скамейки.

– Смерть, смерть! – кричал он, удирая в подворотню. – Смерть!

Он ошибался, это была всего лишь репетиция смерти. Но кличка эта навсегда закрепилась за стариком.

7.

Жил Александр Валерианович один, в похожей на пенал комнатке напротив входа в коммуналку. Из комнаты он выходил редко, по крайней необходимости: пройти в туалет, или вскипятить чайник. Столик его на кухне поддерживался в идеальной пустоте: две чашки, чайник и старенькое полотенце. По слухам, Александр Валерианович не спал ночами, бродил по комнате и что-то бурчал себе под нос. К тому же, он никогда не готовил, тем самым укрепляя подозрения соседей в его связи с нечистой силой.

– Нет, ну скажите, разве может живой человек может водкой да кипятком питаться? – возмущалась женщина-гора Анна Петровна. Тетя Аня работала газовой сварщицей на стройке, а муж ее, Виктор Иванович, заправлял самолеты в Шереметьево и любил водку.

– Анечка, – бабушка моя, занесенная судьбой в городок этот из блокадного Ленинграда, пыталась нести в массы свет образования. – Возможно, он на диете. Вы

знаете, бывают концентраты в пакетиках, супы, например. Достаточно залить их кипятком...

– Пакетики... – Анна Петровна начинала возмущаться. – Как в коридоре пройдет, так вонища – хоть ноги уноси. А зачем он по ночам шастает? Может он продукты ворует, когда никто не видит? А? Откуда я знаю? В прошлом году купила мясных обрезков на холодец, и кто-то все сожрал.

– Да это Иван Алексеевич с дружками, они сдачу объекта отмечали.

– А я почему знаю? Может и Ванька, а может и этот. Тьфу ты, привезло с жильцом. Никогда ни здрасти, ни спасибо не скажет. Пройдет, как будто нас не видит. Нет, не зря Советская власть его посадила.

– Так его же реабилитировали, по ошибке осудили.

– А мы люди простые. Просто так никого не сажали.

– Ну хорошо, хорошо, Анечка, – смутилась бабушка. – Как скажете.

8.

В киоске около станции продавалось мороженое. «Сливочное с Розочкой» за 19 копеек, «Крем-Брюлле» за одиннадцать. Но даже аромат "Чародейки" с орехами за 28 копеек не мог сравниться с благоухающими таинствами магазина «Культтовары».

В «Культтоварах» пахло резиновыми сапогами, клеенкой, брезентом, и удилищами. Рядком мерцали фиолетовые стекла биноклей и подзорных труб. На прилавке под стеклом выстроились грузила, крючки, мотки с леской и хитроумные блесны.

Около входа в магазин стоял цветной телевизор, единственный в городке. В те годы цветная трансляция включалась лишь изредка – во время правительственных новостей, художественных фильмов и, почему-то, детских спектаклей. Спектакли эти шли часов в одиннадцать утра, и собирали в "Культтоварах" благодарную аудиторию.

Дровосек с сизо-фиолетовой физиономией размахивал топором, подрубая под корень ярко-желтую ель.

– Смотри, – Коля Семечкин уже смотрел эту передачу на прошлой неделе. – Сейчас он буржую ебнет!

На экране появился король с толстенными щеками, и фиолетовый дровосек, тут же дал ему топорищем по кумполу.

Король упал и начал смешно дрыгать ногами. Мальчишки взревели от восторга.

Актера, игравшего короля, я случайно встретил спустя много лет на Шаболовке. Он был уже совсем старым, но все еще продолжал работать в детской редакции телевидения. Я наткнулся на него в студийной столовой, где он жадно пил чай со сдобной булкой. Он поймал мой взгляд, обмакнул булку в чай, и понимающе усмехнулся.

9.

Я крепко держал удочку.

В кармане лежали 20 копеек. Я выцыганил их у бабушки с пенсии на покупку нового поплавка. С другой стороны, мой старенький, пузатый поплавок был ничем не хуже остренького перьевого. А на 20 копеек можно было купить сливочное мороженое в

вафельном стаканчике.

- Какое тебе, мальчик?
- Сливочный пломбир с розочкой.

Копейка сдачи. Легкие угрызения совести.

Я сладострастно откусил краешек сливочного стаканчика, но поймал смеющийся взгляд вдруг откуда ни возьмись взявшегося Александра Валериановича, и тут же подавился.

Смерть сидела на скамейке, в скверике на углу Первомайской и Ленина. Под скамейкой стояла пустая бутылка водки, а в кустах боярышника стонал Димкин отец – Иван Алексеевич.

- Здравствуй, племя молодое, – протянул сосед, и прикрыл глаза.
- Здравствуйте, Александр Валерианович.
- Вкусное мороженое?
- Вкусное. А что, дяде Ване плохо? Может быть я сбегаю, тетю Клаву позову?
- Не стоит. Впрочем, все это не суть важно. Ивану хорошо. Тебе хорошо, Ваня?
- Угу, – вырвалось из Димкиного родителя.

– Вот видишь, мальчик. Он постигает блаженство, недоступное простым смертным. Я с удовольствием обсудил бы с тобой вечные проблемы, но – увы!

– Александр Валерианович, извините, мне пора домой. Бабушка рассердится, вы знаете, у нее больное сердце.

- Вот за что я тебя люблю, так это за обороты речи.
- Простите?
- Бог простит.

– Бога нет, – из кустов вылез Димкин отец. – А, этот, внучок... Они себе на уме... Они тоже ордер на квартиру получить хотят. Поэтому бабка его в завкоме работает. А мне ордер, чтобы вы знали, за ударный труд дали, и за то, что начальник треста – депутат.

– Помолчи, Ванюша. Понимал бы чего... Бог есть. – Александр Валерианович вдруг стал жалок. Морщинистое лицо покрылось неестественным румянцем, неприлично вспыхнув на фоне выцветшей рубашки, на которой не хватало половины пуговиц.

- Темный ты в политическом смысле человек, – промышчал Иван Алексеевич.
- Зато я Ленина видел, – скромно сообщил Александр Валерианович. – Вот, как тебя.
- Бреешь, – обомлел дядя Ваня.

– Шучу, шучу! – рассмеялся сосед. – Ты, Саша, не обращай на него внимания. И на меня тоже. – Александр Валерианович потряс головой. – Иди-ка лучше домой. Бабушке привет передавай.

10.

Как-то раз, вернувшись из школы, я обнаружил соседа в нашей комнате. Александр Валерианович был тщательно выбрит, хоть и одет во все ту же рубашку с обтрепанным воротником. Воздух был густо пропитан валокордином. На столе лежала коричневая папка с тесемками.

- Здрасти, – удивился я гостю.
- Здравствуй, тезка. Ну, мне пора, пожалуй.

– Куда вы торопитесь, может быть, выпьете чаю? – Бабушка, как мне показалось, была растеряна.

– Нет, благодарю. Я буду Вам крайне признателен. Видите ли, у меня никого не осталось. Мысли всякие в голову лезут... А вы – единственный человек в нашем окружении, в силу известных причин вызывающий у меня доверие.

– Конечно, Александр Валерианович. Я все понимаю, – твердила бабушка.

– Бабушка, а зачем он приходил? – меня терзало любопытство.

– Александр Валерианович просил меня помочь с оформлением пенсии.

– Ааа, – я мгновенно потерял интерес к папке, тем более, что бабушка куда-то ее тут же спрятала.

Через пару недель Александр Валерианович умер. Я впервые видел вблизи покойника, еще недавно разговаривавшего и бродившего по квартире живым. Он лежал в обтянутом красным сукном гробу, по полу были разбросаны пряные еловые ветки. Гроб снесли вниз, поставили на две табуретки около входа в подъезд, потом увезли.

Вечером соседи собрались на коммунальной кухне, устроив что-то вроде поминок. Окна запотели от картофельного пара, аппетитно пахло селедкой, луком и сильно-кислой капустой.

– И ведь никого из родных у него не было, ни детей, ни жены, – переживала слегка захмелевшая тетя Аня. – Вот, жил человек, один-одинешенек.

– А ты выпей, Анна Петровна, – дядя Витя подцепил на вилку кусок селедки. – Бог дал, Бог взял. Все там будем.

– А он ведь в бога верил. Темный был человек, хоть и образованный. – Вздохнул Иван Алексеевич.

– Не наш элемент, конечно, – рассудительно заметил дядя Витя. – Но в положение входил. Вот мне, к примеру, как-то рубль занял, а потом даже не напоминал.

– А Ленина видел, – многозначительно покачал пальцем Иван Алексеевич. Да. Как меня. Так и сказал: Я, Ваня, Ленина, как тебя видел.

– Ну, да ладно, видел – не видел. Пожил свое раб Божий, и успокоился, – подвела итог тетя Галя.

11.

Прошло несколько лет. Бабушка получила однокомнатную квартиру, потом родители затеяли сложный обмен, и мы в конце концов переехали в Москву. Квартира была полна стеновых шкафов, книг и старых чемоданов. В одном из них лежали фотоальбомы с фронтальными фотографиями отца. А еще помню потертый кожаный портфель с иконками, платиновыми полтинниками и сохранившимися семейными регалиями и драгоценностями. Пожелтевшие дореволюционные фотографии женщин в длинных платьях и мужчин в сюртуках – все это вызывало у меня живой интерес исследователя.

Однажды во время одной из археологических сессий, я наткнулся на давно забытую папку с тесемками, и вспомнил высокого старика из коммуналки.

В папке лежали тетрадные листочки в линеечку, исписанные выцветшими чернилами. Содержание первых страниц меня разочаровало – не было там ни государственных тайн, ни сокровищ. Письма к какой-то Елене Николаевне. Я наугад пролистал несколько страниц – эх, скучные рассуждения о воле и свободе, – и засунул папку на место.

На следующий день я невзначай спросил у бабушки, помнит ли она покойного соседа.

– А почему ты вдруг о нем вспомнил? – Бабушка подозрительно посмотрела на меня.

– Да так, просто, – глаза у меня начали бегать. Вскоре пришлось покаяться.

– Как ты мог! Как тебе только не стыдно шарить по чужим вещам. Это же безнравственно, почти что воровство!

– Я помню, ты мне тогда сказала, что это документы, а оказалось – письма.

– Не твоего ума дело! И не смей больше копаться в моих документах, а тем более рассказывать друзьям о своих находках.

Ночью за стенкой бубнили голоса. Я жадно прислушивался, приложив ухо к двери.

– Не дай Бог, – сердилась мама. – Зачем тебе это? Такой риск. Надо все немедленно выкинуть или сжечь.

– Я обещала человеку перед смертью, – голос бабушки был холоден.

– Да вы понимаете, чем это может для всех нас обернуться? – наступал отец. – Мало ли что, он проболтается в школе, кому-нибудь покажет, всплывет вся эта история...

– Пока я жива, рукопись уничтожить не дам. Умру – делайте, что хотите.

Надо ли говорить, что на следующий день после школы, пока родителей не было, я обшарил весь дом. Каждый уголок, каждая щелочка были многократно исследованы. Все было напрасно – коричневая папка исчезла. Лишь спустя много лет я узнал, что она была отвезена на хранение к дальней родственнице.

А эпизод этот вскоре выветрился из памяти – в детстве все быстро забывается. Тем более, что вечером Пашка из нашего класса раздобыл несколько боевых патронов, и мы с суеверным ужасом бросали их в костер, разведенный в рожице около железной дороги.

12.

Глядя в прошлое, я удивляюсь, насколько неравномерно течет время. Пять лет, прошедшие между смертью Александра Валериановича и случайной находкой в бабушкином шкафу, показались мне, подростку, вечностью. Только теперь я понимаю, что для бабушки эти годы пролетели, как несколько недель.

Пока мы взрослеем, время постепенно ускоряется – как вагон метро. С достижением зрелости оно движется будто бы с постоянной скоростью, а потом замедляется и незаметно начинает тормозить, пока не подъедет к конечной станции, той, где просят освободить вагоны.

Через двенадцать лет после описанных событий мое время впервые умерило свой бег, а бабушкино почти замерло. Она начала путаться в окружении и событиях, причудливо переносась то в собственную юность, то в послевоенные годы. Лишь изредка, как правило по утрам, к ней возвращалось чувство реальности.

Мама ожидала неизбежного со дня на день. Поэтому, когда мне предстояла двухмесячная командировка в Ленинград, семейный совет постановил, что перед отъездом я должен проститься с бабушкой.

Бабушка еще могла передвигаться сама.

Она сидела в старом кресле, закутавшись в платок, и смотрела на окна соседних домов. Моего появления в комнате она не заметила.

– Привет, ба, – кашлянул я. – Как ты себя чувствуешь?

– Кто? А, это ты, – вздрогнула старушка. – Ну что же, хорошо, что пришел. Я тебя ждала.

– Да, я уезжаю в командировку, пришел попрощаться.

– Ты очень изменился, Петя.

– Бабушка, я не Петя, – обреченно вздохнул я. Эти провалы памяти в последнее время сильно нервировали окружающих.

– Не обманывай меня, Петя. Дай Бог памяти, когда я тебя видела в последний раз? Ну да, у Корсаковых дома. В Новороссийске. Еще до того, как тебя убили.

– Бабушка, я не Петя. Я – Саша. Твой внук.

– Господи, Сашенька! – всплеснула бабушка руками. – Это ты?

– Ну, конечно я.

– Я опять все спутала. Надо же, а такой маленький был. Когда ты вырос, не помню. Это из-за очков. Да-да, я просто плохо вижу. Мартышка к старости слаба глазами стала. Куда я их дела?

– Вот они, – я дал ей в руки зеленый пластмассовый футляр.

– Спасибо. Ты всегда находил мои очки.

– Слушай, бабуля, – я воспользовался временным просветлением сознания. – Я, собственно, на минутку. Вечером уезжаю в Ленинград, пришел попрощаться.

– Хорошо, что забежал, может быть, больше не увидимся, – покачала она головой.

– Да о чем ты говоришь.

– Подожди, Петя, ты в Ленинград едешь? Тут ко мне заходил Александр Валерианович, помнишь такого?

– Помню. А что значит – заходил? – Мороз пробежал по спине, и я временно согласился с тем, что снова стал Петей.

– Ну... Не знаю, как это тебе объяснить. Заходил, и все тут. Мне так неловко перед ним, я ведь никого не нашла. Хотя видит Бог, несколько раз пыталась. Никого не осталось, все в блокаду умерли. Я боюсь, что они ее сожгут, эту рукопись. Или Сашенька в школе разболтает, мало ли что.

– Бабушка, я давно уже закончил школу.

– Петенька, возьми ее. Под кроватью, в портфеле. Она у Вики хранилась, до самой ее смерти. В Петербурге попробуй разыскать родственников, в папке вложена страничка с фамилиями и адресами.

– Хорошо, – забытая папка снова оказалась у меня в руках.

– Вот спасибо тебе. Если он опять придет, так и скажу – у Пети. А теперь – иди. Я очень устала.

– Пока.

Я был несказанно рад вырваться из комнаты.

А на улице была ранняя весна. Снег уже почти растаял, пахло мокрой землей и ручьями.

– Чертова бессмысленная жизнь, – выругался я и закурил.

13.

Мой поезд уходил вечером. Я кое-как собрал вещи и бумаги, засунул рукопись в чемодан и остаток времени провел в недавно выстроенном универмаге у трех вокзалов –

покупал подарки родственникам, у которых собирался остановиться.

До рукописи я добрался поздно ночью, на верхней полке купе. Тускло мерцал ночничок, стучали колеса, подо мной душевно похрапывал мужик в физкультурном костюме.

Разобрать почерк покойного Александра Валериановича было несложно – писал он каллиграфически, лишь изредка перечеркивая отдельные слова. Конечно же, старик писал мемуары, но в своеобразном стиле – это были письма его возлюбленной, которую он потерял еще в тридцатые годы, попав в лагерь. Одного я не мог понять – что уж было такого крамольного в этих записках? Упоминание о лагерях? Видимо, мне трудно будет до конца осознать страх, въевшийся в старшие поколения.

Я пролистал несколько страниц, а потом по-настоящему вчитался в аккуратные строчки, написанные в крохотной комнатке многолюдной коммунальной квартиры моего детства.

... Я делаю вид, что живу в крохотной, выцветшей комнатухе на третьем этаже дома красного кирпича, архитектурой и мрачным видом своим напоминающего окраины Берлина, который мне удалось повидать в детстве. Да это и неудивительно – дом наш построен в конце войны военнопленными, по проекту немецкого же архитектора. Чуть к северу, за пустырем, у самой железной дороги – их заброшенное кладбище.

Окошко мое расположено в нише стены, и видна из него лишь кирпичная кладка. Если же исхитриться и устроиться повыше на мешанской кровати с позолоченными шишечками, становится виден уголок двора с разошедшейся детской песочницей и кладовая дверь продуктового магазина. Когда мне становится скучно, я могу часами смотреть на то, как во дворе играют мальчишки, а около магазина ошиваются грузчики в грязных фартуках.

Забавно: у тех и других сложнейшая социальная жизнь – борьба за первенство, враждующие группировки, зависть, предательство, мелкое воровство, расплата, конфликты и измены, – все тот же, до боли знакомый нам человеческий муравейник. История человеческого рода повторяется с навязчивой однообразностью.

Этот Богом забытый провинциальный городок, похоже, станет моей последней станцией. Сам не знаю, почему я осел в нем, почему не вернулся в Ленинград, или хотя бы не перебрался в Москву, до нее рукой подать – меньше часа на электричке. Скорее всего, комплексы мои сродни инстинктам хищника, привыкшего скрываться в лесу.

У меня теперь куча свободного времени, в комнатухе моей тихо. Тишина, впрочем, камерная, условная – за дверью все время детский плач, кто-нибудь скандалит, гремит кастрюлями, звонит во входную дверь. Соседи мои – неандертальцы новой формации. Мне часто кажется, что они меня ненавидят, я чувствую холодное облако сырой злобы, выползающее рваным одеялом из-под двери. Тогда я вспоминаю музыку. Оказалось, я часами могу проигрывать в голове своей музыкальные произведения, полагаясь на память.

Я почти перестал спать по ночам. Вечерами лежу на кровати с шишечками и смотрю на тканевый абажур персикового цвета. Иногда мне кажется, что там, в костре абажура, – твое лицо. Я даже не знаю, жива ли ты. Если вдруг ты когда-нибудь прочтешь эти записки... ты станешь хуже ко мне относиться... Да я и сам себе неприятен – комок комплексов, старик – невротик, мизантроп, придумавший себе для душевного успокоения идиллический мир былого.

А на самом деле – я боюсь, что тебя уже нет, и тогда жалкий остаток моей жизни потеряет и этот, весьма иллюзорный смысл.

Жизнь моя прожита. Итоги? Неудачная любовь романтического интеллигента с

придурью в башке. Пятьдесят лет борьбы за выживание... Лучше б мне от роду написано было в двадцать первом году лежать в степи с пулей в голове.

Но я почему-то выжил, бессмысленно. Сажу в комнатке, уставившись в абажур. Можно, конечно, клясть суровую эпоху, проехавшуюся по нашему и последующим поколениям тяжелым катком. Но и в этом нет смысла, да и достоинства тоже нет.

Расскажу-ка я тебе о другом. Представляется мне порой, что у каждого (повторяю: каждого человека, за исключением, пожалуй, лишь самых ничтожных особей), в жизни бывает одно, редко – несколько судьбоносных мгновений. В моменты эти некая Высшая Сила (не знаю, божественной ли, дьявольской ли она природы) дает ему шанс изменить судьбу, и, если угодно, стать значимым. Для одних этой значимостью становятся великие научные или медицинские открытия, вдохновенные свершения на ниве искусств. Для других – безрассудный героизм в политике или на поле брани, закрепляющий имена их в истории. Для третьих – проявление величия души, широкие, не объяснимые ничем, кроме парадоксов духа, поступки.

В такие мгновения человек лишь должен отдаться воле провидения, одному из древнейших наших инстинктов. Разум в подобных ситуациях вреден.

Что касается меня, так мне даровано было два таких мгновения. И оба, увы, просочились меж пальцев. И лишь себя мне теперь винить, что хорошо.

Самая главная ошибка моей жизни состоит в том, что я не увез тебя. Хотя, слово "увез" вряд ли соответствовало ситуации. Речь, скорее, шла о похищении. Я помню ту ночь, проведенную, как в бреду, когда в голове стучала лишь одна отчаянная мысль – купить билет на поезд и бежать, бежать, схватив тебя в охапку, позабыв о здравом смысле и общественном мнении.

Да было ли чего бояться? Злословящих от зависти жен знакомых? Кабацких шуток вчерашних друзей? Теперь, когда, пожалуй, кости и тех, и других уже давно истлели в могилах, убожество подобного «общественного мнения» очевидно.

Той ночью мысль о побеге присутствовала в воспаленном сознании моем скорее на уровне нутра, нежели разума. Я курил, метался по комнате, тщательно пытаюсь подавить вспышку неразумных (как мне тогда казалось) желаний. Я отговаривал себя. Аргументы казались вескими (а по прошествии лет оказались ничтожны): я не имею права идти против воли родителей, не обговорив все подробно и не получив от них согласия. Если я это сделаю, совесть будет терзать нас обоих, и разрушит счастье и гармонию в конечном итоге. Мое весьма скромное состояние не обеспечит нам достойной жизни. Не вдохновляло и происходящее вокруг – фарс, обреченный на провал спустя месяц – другой. Да и достойно ли заниматься устройством личного счастья и благополучия в тяжелые для отчизны времена?

А голос изнутри тихо шептал мне: Беги!

Разум мой отказывался воспринимать алогичное происходящее. Фарс вдруг разом обернулся трагическим хаосом. Потеря родителей, состояния... утрата понятий совести, чести, гражданского долга... Мне казалось, что наступила вечная полярная ночь...

Но лишь одно я проклинал тогда – свою дурацкую нерешительность, и губы, искусанные в кровь по ночам от несбыточных желаний, каждое утро напоминали мне в зеркале о жалком предательстве моей излишне рассудительной душонки.

О втором поворотном моменте моей бездарной судьбы напишу позже, если хватит времени и сил. Думаю, судьба подскажет мне, когда это сделать.

Далее шли любопытные зарисовки предреволюционного Петрограда, студенческие байки, упоминания о знакомых.

Времени было уже за полночь, скоро уж и Бологое, хотелось спать.

Я достал последнюю страничку. "Уважаемая Татьяна Николаевна (это моя бабушка). Большая просьба после смерти моей разыскать Елену Николаевну Ренне (фамилия девичья), либо ее родственников. В 1932 году Елена Николаевна проживала по адресу...

Вся эта занимательная история, увы, казалась безумно безнадежной. Надеяться, что где-то в Ленинграде жива еще женщина 85 лет, пережившая войны и блокады... Я вдруг понял, что лет двадцать назад, когда писались эти строки, Елене Николаевне было бы всего шестьдесят пять, и, возможно, она была еще жива!

14.

Несколько последующих дней были суматошными – я устраивался на новом месте, носился из одного института в другой и привыкал к незнакомым автобусным маршрутам.

Звонок в адресное бюро, конечно же, ничего не дал. Существовал, впрочем, обходной путь – попытаться запросить справку из архивов, проследить прописку людей, живших по старому адресу. Хотя архивы могли и погибнуть во время войны, да и кто бы занялся их раскопками...

Дальние наши родственники жили на Петроградской стороне. Двоюродная тетка еще помнила бабушку, довоенные поездки на дачу и семейные празднества. За уютным вечерним чаепитием я рассказал ей о своих поисках.

– Погоди-ка, – удивилась тетка, взглянув на адрес. – Ведь это недалеко, ну да, три-четыре квартала отсюда. Да и дом я помню, он до сих пор стоит. Там в основном коммуналки, надо бы с бабусями, которые у подъезда сидят, поговорить. Надежды, конечно, мало, коренных ленинградцев почти не осталось, но чем черт ни шутит.

Я чувствовал себя довольно странно – разыскивать неизвестную мне старуху, которая жила в этом доме полвека назад...

Я все-таки позвонил в квартиру, в которой когда-то жила Елена Николаевна.

Дверь мне открыл задыхающийся дед с явными следами похмелья. Из темного коридора пахло давно забытыми ароматами коммуналки – кислым варевом, старой одеждой и несвежим паром, видно, в ванной стирали.

– Вам кого? – подозрительно спросил дед.

– Вы знаете, – замялся я, – тут такая история. Я разыскиваю знакомую моей бабушки, которая когда-то жила в этой квартире. Вы давно здесь живете?

– Да уж лет тридцать с лишним будет, – раздраженно прокашлял дед. – Все обещали переселить, или комнату лишнюю дать, а...

– А кого-нибудь из совсем старых жильцов, до войны, здесь не осталось?

– Да нет, нас после войны заселяли. Старые жильцы все в Блокаду повымерли, а кто выжил – разъехались.

– А в соседних квартирах, или в доме, не знаете ли кого из блокадников?

– А хрен их разберет. Ты Алевтину спроси со второго этажа.

Я спустился на второй этаж. Алевтина оказалась весьма бодрой старушкой, пережившей и блокаду, и саму революцию. Одета была она в мужские ботинки, мужской же пиджак, шарф и шерстяной берет. Поначалу отнеслась ко мне подозрительно, но, выслушав начало истории, сменила гнев на милость.

– Подумать только, – всплеснула старушка руками. – Заходите, заходите, молодой человек. Я вам сейчас многое расскажу.

Последующие сорок минут прошли в рассматривании старых семейных фотографий,

обновлении истории города на Неве и воспоминаниях. Я чувствовал себя неловко.

– Так вы помните Елену Николаевну из двенадцатой квартиры? Она жила там в 32 году.

– Да конечно помню! Леночка, она вышла замуж за этого... Представительный был мужчина, то ли журналист, то ли писатель... Говорят, известный. И девочка у них такая была очаровательная, вся в кудряшках, Сашенька.

– А дальше, дальше что с ними случилось?

– А дальше не знаю, молодой человек. Могу только одно сказать: в блокаду их здесь не было. Их в самом начале войны эвакуировали.

– Ну хорошо, а фамилию мужа ее не припомните?

– Господи, дай Бог памяти, звали его Сергеем, кажется. А фамилия такая звучная была. Петровский? Покровский? Да, кажется Покровский.

Больше от старушки мне ничего добиться не удалось, зато через сорок минут у меня были телефоны трех Александр Покровских. Увы, ни одна из них не была дочкой Елены Николаевны, проживавшей некогда на Петроградской стороне. В последней, безумной надежде, я разыскал телефоны двенадцати Сергеев Покровских, проживавших в Ленинграде. И на восьмом по счету звонке мне неожиданно повезло.

– Извините, можно попросить Сергея Покровского, – в очередной раз произнес я в телефонную трубку.

– Это я, – голос принадлежал мужчине лет сорока.

– Извините, я, кажется, ошибся.

– А кому вы звоните? – удивился мой собеседник.

– Да тут долго объяснять. Мне нужен Сергей Покровский, я не знаю его отчества, не уверен даже, что он жив. Вообще – то я разыскиваю Александру Сергеевну, его дочку.

– Подождите минутку, – занялся мой собеседник. – Это вы отца разыскиваете? Он давно уже умер. А Александра Сергеевна – моя старшая сестра. А вы, собственно, по какому делу?

Сердце мое забилось, на лбу выступил пот. Я что-то бормотал про семейные связи, просьбу умирающей бабушки...

15.

Дочка Елены Николаевны оказалась хорошо сохранившейся женщиной лет пятидесяти. Мама ее умерла в 1969 году – на год позже Александра Валериановича.

– Спасибо Вам большое, даже не верится, такое удивительное совпадение. – Александра Сергеевна взяла рукопись. – Жаль, что мама не дожила. Вы знаете, человек этот был у нас в семье легендой, мама о нем много рассказывала. Друг молодости, к тому же он был в нее безумно влюблен. Потом они потеряли друг друга во время гражданской войны, и Саша объявился в Ленинграде уже в конце двадцатых годов. А через несколько лет его арестовали. Для мамы это было трагедией. Она мне часто говорила, что у нее было две жизни – до его ареста, и после. Вы знаете, у нас хранятся старые фотографии. Чудом сохранились – маму же в начале блокады эвакуировали. Она с собой вещей почти не взяла, но фотографии в чемодан засунула. Хотите посмотреть?

Я почему-то сразу узнал его, худого, болезненного, в этом высоком, стройном красавце с удивительно правильными чертами лица. На Александре Валериановиче был

студенческий мундир, а сам он смотрел в объектив, улыбаясь, сложив руки на груди.

– Я бы и сама в него такого влюбилась, – вздохнула Александра Сергеевна.

16.

Вскоре из Ленинграда пришло письмо.

"Дорогой Саша, – писала Александра Сергеевна. – Еще раз хочу выразить Вам свою признательность за то, что вы спустя много лет выполнили посмертную просьбу Александра Валериановича. Неожиданно пришло в голову – мы все–Саши, и Вы, и я, и он.

Вы в разговоре со мной упомянули, что успели прочитать лишь начало рукописи. На всякий случай, посылаю вам копию нескольких страниц, которые меня потрясли. Думаю, что Вам будет интересно узнать, в каких переделках побывал бывший Ваш сосед по коммунальной квартире.

Если бабушка Ваша еще жива, передайте ей огромную благодарность от нашей семьи за то, что все эти годы она помнила о просьбе чужого ей человека, и сохранила рукопись. Для этого в те годы требовалось завидное мужество".

Где она умудрилась найти копировальный аппарат в те годы– до сих пор остается для меня загадкой.

"Я уже писал о том, что каждому из нас доводится в течение жизни пережить несколько судьбоносных мгновений. Чувствую, что пришло время написать о том, что случилось со мной, ибо внутренний голос уже давненько нашептывает, что избавление мое не за горами. Хотя возможно, что это лишь обычная старческая мнительность.

В начале июня того проклятого года я успешно закончил экзамены в Военно-инженерной академии, а числа пятнадцатого, кажется, меня вызвал к себе старший офицер курса, полковник Лоцевский, запер за мной дверь кабинет и вдруг начал нести бессвязный патриотический бред, как две капли воды напоминавший многословные выступления депутатов Думы. О том, как важно водворить порядок в том разбушевавшемся море безвольного безвластия. О том, что молодежь – основа и будущее счастье великой России. И прочее, и тому подобное.

Все это напыщенное пустословье было мне неприятно. Хаос разрастался. Толстомордые господа из новоиспеченного правительства сотрясали воздух лозунгами, способными внушить отвращение любому здравомыслящему человеку и патриоту Родины.

В глазах Лоцевского, (а ведь он был другом отца) отражалась лишь вселенская пустота, голос механичен, да и речь сама, увы, откровенно манерна и от того совершенно бессмысленна. Мне стало жаль его.

– Николай Михайлович, к чему Вы это? – не выдержал я. – Мы с вами знакомы близко, к тому же вы друг покойного отца моего, поэтому буду откровенен: От подобной демагогии о будущем счастье великой России у меня мгновенно возникает изжога.

Лоцевский на мгновение оторопел, потом рассмеялся и обнял меня. Казалось, он почувствовал облегчение.

– Любезный мой, – Николай Михайлович закурил. – Коли так, буду с вами предельно откровенен. Ситуация в столице сложная, не мне вам объяснять. Не хватает офицеров для несения патрульной службы на улицах города – все либо уже задействованы, либо на фронте. Не смею просить Вас о помощи, но все же спрошу: каковы ваши планы на

ближайшие месяцы?

Несмотря на то, что планы мои никак не предполагали такого оборота событий, я не смог ему отказать, ибо, как мне тогда казалось, нравственная обязанность любого образованного человека – не допустить превращения политической нестабильности в полнейший хаос.

В подчинение мне выдали всего лишь двух солдат. Оба из глубокой деревни. Алексей – был совсем мирным, даже ленивым. Второй – Илья – пошустрее, но на рожон не лез. Отношения с ними у меня сложились неплохие, даже дружеские. Да иначе и представить себе трудно – ведь мы каждый день в равной степени рисковали своими жизнями.

Петроград не то, чтобы кипел, скорее взрывался болотными пузырями, все более и более зловонными. Помню, как разгоняли мы пьяную толпу, громившую винную лавку на углу Невского: меня тогда чуть не убили – Илья спас. Несколько юнкеров были ранены, пришлось стрелять, чтобы привести толпу в чувство.

В начале июля беспорядки приняли серьезный характер. Некоторые полки взбунтовались, откуда-то прибыли пьяненькие морячки, подстрекаемые бунтарями, гордо называвшими себя революционерами. Началась почти ежедневная стрельба, столкновения были кровавыми, кое-где на улицах лежали трупы. К счастью, вскоре к городу подтянули отозванные с фронта войска. Ситуация начала успокаиваться, власти производили аресты особо опасных бунтовщиков, но как-то вяло, даже арестованных по большей части отпускали. Ходили слухи, что многих чиновников правительства подкупили немцы.

Надо ли говорить, что от всего переживаемого я постоянно находился в мрачном расположении духа.

Одно из последующих дежурств моих случилось в ночь с шестого на седьмое июля по старому стилю. В связи с серьезностью ситуации указания патрулям давались по законам военного времени – при оказании вооруженного сопротивления открывать огонь, всех подозрительных немедленно препровождать в участок для выяснения личности и характера деятельности.

Дежурство мое начиналось в десять вечера. Улицы после недавних беспорядков вечерами были почти пусты. Мне достался район Приморского вокзала.

Было около полуночи, когда внимание мое привлек странный человек в длинном пальто. Мы остановили его для проверки документов.

Вид у него был самый простецкий. Вначале мне показалось, что он пьян, но, приглядевшись, я понял, что ошибался. Даже не знаю, что именно привлекло мое внимание, какое-то странное несоответствие его лица и одежды, но я решил его задержать.

– Ваши документы!

– Пожалуйте. – Он с готовностью достал бумагу.

Документы были выписаны на имя рабочего Иванова. Опять-таки, почему Иванова? Глупость, Ивановых в России миллионы, но у меня эта фамилия вызвала подозрение.

– Куда направляетесь? – спросил его я.

– На поезд опаздываю, Ваше Благододие. На заработки еду.

Голос явно принадлежал человеку образованному.

– Что в городе делали, любезный?

В глазах человека простого при подобном вопросе возникнуть должен страх. У преступника – досада, «Ах ты черт, скотина, что ты ко мне привязался»

– Родных приезжал поведать.

В глазах у задержанного полыхнула не то что досада, ярость. Она пыхнула на меня красными угольками, будто задержал я дьявола, и мне стало страшно.

– Родных? – Что-то говорило мне, что история его неправдоподобна. Ни чемодана, ни вещевого мешка с собой у человека, отправляющегося на заработки... Смущали меня и его вполне холёные руки, я успел на них глянуть, когда задержанный передавал мне документы.

В те дни в Петрограде кого только ни разыскивали. Финансовых спекулянтов, германских шпионов, революционных агитаторов, фальшивомонетчиков... Я еще колебался, когда Алексей заметил двух прохожих, остановившихся неподалеку.

– Ваше благородие, – доложил он. – Подозрительная парочка. Они вроде как позади шли, а когда мы этого остановили – встали.

– Господа, – крикнул я. – Подойдите поближе, и без глупостей! Илья, – Возьми-ка винтовку на грудь, чем черт ни шутит.

Подозрительные субъекты оказались кавказцами весьма пристойного вида, сопротивления не оказывали, и мне снова стало неловко. К кавказцам я с юности испытывал уважение, как к людям, имеющим понятие о чести и долге. Юношеский бред, конечно. Чем дольше живу на этом свете, тем больше понимаю, что все едино. И все мы, как ни крути, потомки прародителей наших, Адама и Евы.

– Извините, господа, проверка документов. Куда направляетесь?

– Гуляем, – развел руками кавказец помоложе. Отличали его пышные усы. – Дома гуляли, потом на улицу вышли освежиться.

– Странное время для прогулки, господа, почти час ночи. Да и время весьма смутное – постреливают. А на пьяных вы не похожи. Почему же остановились?

– А Вам бы, господин офицер, хотелось быть задержанным в такое время? – Вступил в разговор старший. Он был тщательно выбрит.

– Звучит правдоподобно. Знакомы ли вы с этим человеком?

– В первый раз видим, – уверенно сказал молодой.

У мужика в пальто блеснули глаза, и я вдруг почувствовал, что усатый лукавит.

– Предъявите документы.

– Пожалуйста, – протянул бумаги старший. Документы у него были в порядке.

– А ваши? – спросил я у молодого.

– Тут, видите ли, недоразумение, – замешкался он. – Я документы дома забыл.

– Я за него ручаюсь, господин офицер, – сказал старший. – Это мой родственник, в гости приехал.

Придираться к кавказцам особо у меня не было оснований, но что-то терзало меня.

– Придется Вам, господин, пройти с нами в участок, – решил я.

– И ему тоже? – удивился кавказец постарше, указав на рабочего с руками интеллигента.

– Простите, господин офицер, а меня, собственно, на каких основаниях задерживают? – Возмутился мужик в пальто. Разнервничавшись, он сильнее закартавил.

– Для выяснения личности, милейший, – бросил я. – Разберемся, если все в порядке, вам беспокоиться нечего.

– Все это просто возмутительно, – рассердился усатый. – Полнейшее беззаконие...

– Что же делать, господа, пойдёмте, – оборвал его бритый. – Господин офицер по-своему прав, время беспокойное. С вашего позволения, я провожу своего родственника.

– Как Вам будет угодно, – согласился я.

– Далёко у вас отсюда участок?

– Минут десять пешком.

Мы побрели к перекрестку. Я шел сбоку, не выпуская задержанных из виду, рядом – два кавказца, за ними – подозрительный тип в старом пальто, а замыкали процессию мои солдатики. Улица была совершенно пустынна.

– Можно закурить? – спросил усатый.

– Курите.

– У вас есть спички? – Спросил он у старшего.

– Никак не найду, – пошарил бритый в карманах.

– А вы посмотрите в правом кармане, мне кажется, вы их туда положили.

– Нет, обронил видимо.

– Извините, господин офицер, у вас не найдется спичек?

Я достал из кармана коробок, и уже было протянул его усатому, как тот с неожиданной резвостью ударил меня кулаком в лицо, отчего я потерял равновесие. В одно мгновение троица бросилась врассыпную. Как я понял, просьба закурить и поиски спичек скорее всего являлись условным сигналом для атаки и бегства.

Картавый мужичок в пальто бросился к вокзалу, бритый – вверх по улице, а усатый – в переулок.

– Ваше благородие, живы? – Илья ринулся меня поднимать.

– Да жив, жив, черт, – кавказец разбил мне губу и повредил зуб.

Я был зол. Сплевывая кровь, выхватил револьвер, и попытался прицелиться в усатого, зайцем зигзагами рванувшего по темному переулку.

В ту же секунду выстрелил Алексей. Станный человечек в длинном пальто был еще довольно близко. Он дернулся, неуклюже подпрыгнув в воздухе, и побежал дальше. Бежал человечек суетливо, подмахивая себе руками, как делают барышни.

– Ах ты дьявол, промазал! – Илья тоже целился в пятно неудавшегося заработчика. Мне почему-то казалось, что он не промажет. Я уже видел наяву – человек этот вдруг делает неловкое движение руками, и со всего маху валится на мостовую. Я опустил револьвер. Фальшивый рабочий был уже почти не виден в темноте. Порыв ненависти прошел.

– Ваше благородие, – бормотал Илья. – У вас все лицо в крови...

– Да черт с ними, – у меня потянуло сердце. – Пусть удирают, пропади оно все пропадом, вся эта война, революция, правительства. Сволочи. Потом затаскают нас по судам какие-нибудь сальные адвокаты с гнойными прыщами, за превышение полномочий. А ну, давайте-ка лучше закурим. У меня турецкие папиросы по случаю остались.

– Как Ваше благородие скажет, конечно, – жадно затянулся Илья. – Но по мне бы, лучше б убил.

– Илья, милый, ну как же так. Они же живые, настоящие, с щетиной на подбородках, с запахом пота. Нельзя же так, взял, и убил.

– Это по-вашему нельзя, а по-моему, раз ему сказали «Стой», так и не сопротивляйся. А коли ты сопротивляешься, так враг отечества и империи.

– Стой, стой, Илюша. Какой еще империи?

– А уж теперь и не знаю, Александр Валерьянович.

Вот, Леночка, то, о чем не решался тебе рассказать. Уже светает, на выцветших обоях первые розовые отблески. Знаешь, я выговорился, и как-то легче стало на душе.

Несколько строк напоследок. Помню первый шок, когда вскоре увидел своего

"пролетария" на газетном развороте. Спустя несколько лет портреты не задержанных мной висели повсюду. Я мучил себя, не вправе никому доверить свою тайну, и думал о том, что, возможно, одного моего движения достаточно было, чтобы повернуть историю России, да и всей Европы.

Я тогда не мог предугадать, сколько зла России принесет тот молодой кавказец. А после, десятилетиями я не спал ночами, затыкая подушкой уши от стонов и плача миллионов душ убитых, проклинающих мое минутное малодушие.

Уже в лагере в своих снах я придумал заклинание, которое изредка давало возможность забыться.

– Разойдись! "Мне лично товарищ Сталин по морде дал! – кричал я, и мертвецы в ужасе расступались".

17.

Вот, пожалуй, и вся история про городок и странного соседа. Тогда исповедь эта меня поразила, но начавшиеся вскоре перемены не оставили времени для размышлений о роли личности в истории.

Я вспомнил Александра Валериановича дважды. Первый раз, когда жизнь моя, казалось, была более или менее стабильна, я вдруг почувствовал, что больше не могу, и, не думая ни о чем, совершил несколько безумных для многих, но благородных по-моему поступков.

Все говорили, что я сошел с ума, но я только загадочно усмехался, и вспоминал старую папку с тесемочками и фразу о том, что в решающие моменты жизни надо полагаться на инстинкт и не давать волю рассудку.

Время показало, что я (или Александр Валерианович?) был абсолютно прав.

Второй раз я вспомнил соседа на высоте десять тысяч метров, в самолете, летевшем из Луизианы в Мемфис. Далеко внизу вспыхивали молнии, а самолет трясло так, что трещала обшивка, и желудок проваливался в пятки.

В руках у меня была книга рассказов новомодного писателя Пелевина. О писателе этом я тогда ничего еще не слышал, да и книга его вышла недавно и попала ко мне случайно, от приятеля, недавно приехавшего в Америку из Москвы.

Один из рассказов был посвящен юнкерам, патрулировавшим улицы Петрограда в ночь, когда Ленин пробирался в Смольный. Юнкера нюхали кокаин, проникаясь видениями волшебного хрустального мира, а Ильич пробивался в штаб революции то ли под видом инвалида в коляске, то ли лоточника.

Не могу сказать, что рассказ мне понравился, но параллели фантастического сюжета с реальной историей были удивительны, я даже забыл о вытряхивающей душу тряске.

Следующей ночью мне приснился Ленин. Он картаво твердил фразу из анекдота: "Наденька, сколько раз я тебе говорил: жизнь гораздо сложнее сухой, партийной догмы".

Тогда я решил написать этот рассказ.

18.

Несколько лет спустя я прилетел в Москву на пять дней. Навязчивые воспоминания

детства преследовали меня, и я попросил друга свозить меня в город детства.

Провинциальный городок превратился в пригород Москвы. Мы долго кружили между новыми девятиэтажками.

– Около больницы направо свернете, – лениво объяснила полная тетка в платье с разводами.

– Дима, – я прикрыл глаза. – Наверняка, это та самая больница, в которой я лежал во втором классе.

Больницу в восьмидесятые годы отштукатурили и пристроили блочный корпус. Кусты шиповника, памятные по детским годам, засохли, казалось, окончательно. В кафе «Молочница», любимом месте опохмелки местного пролетариата, теперь располагался магазин мотоциклов «Ямаха».

«Продукты» остались. Вернее, вход и старые, знакомые с детства прилавки. Димка зарулил прямо в дворик, и я ступил на улицу своего детства. Соседский балкон почти не изменился. Но в подъезд теперь было не войти – на двери висел итальянской кодовый замок.

На скамейках детской площадки сидели угрюмые кавказцы и пили пиво.

Дверь в подъезд распахнулась. Из него вышла затянута в кожу девушка с тонкой сигаретой в зубах, ублюдочного вида бультерьером на поводке, и миниатюрным сотовым телефоном.

– Люба, я все уже знаю. Полный пролет, – сообщила девушка. – Шли их на хер. И скажи, что я так посоветовала. Да.

Она присела на штaketник, отделяющий тротуар от запущенной клумбы. Бультерьер оршал мусорный бак и недобро скалился в нашу сторону.

Меня передернуло. Как тогда, когда из подъезда вынесли гроб Александра Валериановича.

– Не могу больше, Димка, пошли скорее на станцию...

Рынок был все на том же месте, правда разбился на две половины. Слева теперь втридорога продают ту же, что и во всем мире, сделанную в Китае дрянь. Справа, как и раньше господствуют чурчелла, малосольные огурцы, пирожки с грибами и квас. Грибов в пирожках, увы, совсем мало, а квас наполовину разбавлен водопроводной водой.

Лица многих прохожих казались мне знакомыми, но в городке сменились уже несколько поколений, скорее всего, это был просто обман памяти.

Следует ли из этого, что историю переделать невозможно? На практике – да, в воображении – запросто...

И еще – вот в чем вопрос. Будь я на месте старика, я бы, пожалуй, тоже не смог выстрелить в спину убегающему человеку с мягкими ладонями интеллигента...

Давить их все-таки надо, интеллигентов, все беды России из-за них. То есть из-за нас.

Лепестки Граната

1.

Худо, худо мне, Господи! На улице поземка... дома что в погребке пустом – холодина и жрать нечего, а уж что вокруг происходит, дак впору зарыться в подушку...

А ведь в памяти осталась жизнь. Где светло и девушки в длинных платьях, и непременно с зонтиками. Зонтики – совершенно бессмысленный элемент дамского туалета. От проливных дождей все равно не спасает. Плесневевает только. У нас в Тифлисе были дожди. Господи, да какие дожди... а радуги... А пикники... И юная Леночка, пользуясь своим положением всеобщей любимицы, все крутилась между нами, заигрывая неумело и наслаждаясь своей непорочным кокетством...

Остановись, мгновенье... Вот бежит она, нимфа, сошедшая с картин старых итальянцев...А ведь у командира полка уже брюшко, мундир едва сходится. Да и рядом смертельно скучная супруга, от которой вечно несет нафталином, и четверо дочерей, которые от бравого отца не взяли ничего, ни дать, ни взять – купчихи чистой воды.

Я тогда еще ее укорял, глупую, мол, ей бы с куклами носиться. А она манила меня пальчиком, этим тоненьким, милым, трогательным, с подростковыми заусеницами, и шептала на ухо, сладко дыша: «Владимир Николаевич, вы на меня не сердитесь, это я просто вас дразню, чтобы вы наконец решились меня поцеловать»...

– Леночка, поверьте, я лишь сдерживаю себя, я боготворю Вас...

– Вот и боготворите дальше, глупый, – посылала она мне воздушный поцелуй и убегала ...

Да, я был хорош, свежее испеченный выпускник военно-медицинской академии, наивный и восторженный чудаков. Друзья надо мной посмеивались – бывало на какой-нибудь вечеринке сяду в углу и начну сочинять...

*Аромат от земли –
Всех цветов благодать.
В теплой лунной пыли
Предо мной ее стать...*

Глупейший сборник стихов «Лепестки Граната». Книжка издана смешным тиражом – 500 экземпляров, из которых около тридцати купили обыватели, сотню я раздарил друзьям, дамам, конечно, большей частью, остальные через год наверняка были пущены на растопку печей и подтирание задниц победившим пролетариатом.

А ведь там были и неплохие стихи. Ведь были, были! Вот этот, например, «Вы стояли в беседке». Как там дальше? Стан какой-то... Черт побери. Не помню, не помню совсем, а книжки ни одной не осталось.

Все потеряно. Я не принадлежу сему времени, я не способен выжить в этой тине, обмазавшей землю мою толстым слоем. Я ненавижу эти коврики с лебедями, этот грязный город, это бездорожье, я ненавижу даже свои инструменты, кое-как стерилизованные в кипятке. Я ненавижу мещан с грыжами и крестьян с гнойными чирьями.

Спокойно, спокойно, поручик. Если и есть в моем существовании смысл, так

воплощение его – тот мальчуган, которому я на днях вырезал гнойный аппендикс. Для меня все это – всего лишь последний акт трагикомедии «Крушение Империи». А для него – детство, полное новых запахов и чувственных переживаний, ему, малышу все в счастье. Устала лошадь, хрипит и не желает идти дальше под ледяным дождем – счастье. Луна на небе турецким полумесяцем грозит неверным – а он смеется, шевелит своими розовыми ножками, все ему в радость.

2.

Убог наш провинциальный быт. За окном серая мгла и дождь. Грязь, наша извечная российская болезнь–распутица. Порой мне кажется, что и Петербург построили с единственной целью: замостить наши бескрайние пространства, одеть их в гранит, придумать Невский с кружевными мостами и свободолюбивыми конями. Противостоять хаосу запущения методом художественного насилия.

Увы, теперь уж и существование моего города отсюда кажется эфемерным. Последняя весточка из дома случилась весной – проезжал через наше захолустье гимназический мой друг Юрий, постарел изрядно, запаршивел – весь в струпьях. Не узнать выпускника Петербургского университета, нет, не узнать. Теперь служит он уполномоченным в комиссариате, название которого произнести невозможно.

– А ты знаешь, Володя, – бубнил он, выпив дрянной водки и захмелев, как случается со смертельно усталыми людьми. – Ты меня может быть презираешь за то, что я к ним на службу подался. А я их где-то в глубине души понимаю. Ведь они сами не ведают, что творят. Дернули за ниточку, поднялись темные деревенские мужички да матросики, и пошло–поехало. А людям дрова нужны, керосин, щи в конце концов, и хорошо бы с мясом. Люди – они всегда люди.

– Ну так и служи себе спокойно, что ты оправдываешься? Бог тебе в помощь.

– В конце концов, это какая ни есть, а родина наша. И ей служить должно, не тому ли мы присягали?

– А я ли не служу? Мужичкам этим твоим, абстрактным, которые для меня очень даже живые и плотские, да еще воняют так, что хочется умереть... Служу, Юра, служу. Язвы мазями залечиваю, грыжи вырезаю. И об отечестве и присяге не думаю. А тебе я тебе завидую, Юра. Нет, правда, ни грамма иронии. Ты счастливый человек. Для тебя родина – нечто общее, запредельное. Она может поглотить твоих близких и остаться родной. А я, брат, людоедам поклоняться не могу.

– Людоедам? Людоедам! – Юра покраснел. – А мы с тобой, Володя, не людоедами ли были?

– Юра. Давай все-таки не будем ссориться. Слишком много нас связывает в прошлом. Да и происхождение обязывает

– А знаешь, Володя. Ты все-таки классовый враг. – Юра начинал крепко пьянеть. Ты еще в гимназии был упрямым, а теперь...

– Юра, да у меня половина семьи сгинула в этом водовороте. Мужички елейные, это все граф Толстой виноват, идеалист хренов. Ходил себе по Ясной Поляне, косил траву и размышлял о народе–богоносце. А получилось что? Татарская орда, беспредел, пьянство и насилие. Я тебе рассказывать ничего не буду, не хочу, да и тяжело очень.

– Пройти через это надо, пройти. Простить и... И понять. А ты не хочешь, нет, не хочешь. Ты гордый, куда нам... – Юра уже еле ворочал языком.

– Ложись–ка спать. Утро вечера мудренее.

С утра мы молчали, потом друг мой кое-как умыл лицо, отказался от чая и уехал. Попрощались мы сухо. Как будто целая эпоха исчезла, словно морская волна смыла замки, построенные из песка Французской Ривьеры. Отец, мама, мы с сестрой, солнце, чайки и детский плач.

Господи, ну как же можно жить в этом чудовищном театре абсурда, который ты устроил?

3.

Опять эта мерзкая дрожь в руках, опять это изводящее желание смерти. Господи, прости! В последний раз. Клянусь. Морфин-то я ворую в больнице, пользуясь своим положением. Стыдно. Зачем?

Вот и нет больше моей юности, моего города, моих набережных. Все поглотила черная тина. И вязнут в ней лодки древних египтян, морщатся брезгливо гордые сфинксы, и только Нева все еще пытается сбежать в бесконечность.

Пульс стабилизируется, доктор.

Элементарное образование в области военной медицины говорит нам, что боевая единица, пораженная в бою копьем, саблей, стрелой или даже пулей совсем даже не падает, как подкошенная. Она бьется в конвульсиях. Пролетарий, или барон, да что там, сам Государь Император, все едины перед лицом смерти. Подергиваются мышцы, ревет искаженный криком рот, и видения прошлого волшебным фонарем спускаются в последний раз на эту сцену...

Гроыхает гром, кавалеристы отдают салют, из-под копыт лошадей фонтанчиками поднимается в вакуум стружка. Почему стружка? Чем они засыпали манежи? Какая разница, лишь бы утренний туман покрывал поля и перелески, лишь бы пели птицы, которым власть советов и прочих от лукавого, лишь бы петух налетал на курицу, лишь бы стелился папоротник и били хвостами русалки в омутах...

Мне кажется, я лечу над землей в белесом мареве. Я поднимаюсь от овражка, в котором меня потом расстреляют. Знание это не прибавляет ничего. Ерунда, ничего особенного, обычный лесок. Трава, елки. Покой, который испытываешь только в детстве, заснув где-нибудь на пригорке.

А вот и музыка. Страшная и великая. Как прибой океана. Это Рахманинов. Я слушал этот концерт лишь однажды. Меня даже Сергею представили как-то раз, в случайной компании. Жизнь наша – случайность. Случайные лица, случайные платья, незнакомая квартира, рояль и запах еды. Стыдно, кроме благоухания пищи почти ничего не помню. Голод дает себя знать, подменяя воспоминания и обостряя в них столь незаметные в прошлом детали.

Отпускает... Слава Богу. А за окном – ливень и грязь. Ливень... Это же тропики какие-то, как кто-нибудь может выжить под этой отвесной стеной... неужели в этой белесой пелене что-то существует, рождаются люди, пишутся стихи. Как? И зачем?

4.

Озноб и пот, выдавливающий из тела душу. Разбилось все на мелкие осколки, разлетелось вдребезги, а я сижу в неухоженной каморке черт его знает где и убиваю

себя. Стыдно, господин поручик, стыдно.

Если существует в мире Высший разум, то я безусловно являю ему зрелище жалкое. Небритый, с безумными глазами, я вытаптываю два линейных метра между столиком и подгнивающим половичком. Или, взять кровать... Сплю как мужик, белья в сущности никакого, эту рваную простынь бельем назвать стыдно. Одеяло пролетарского образца, засаленное и протухшее. Надо бы постирать все, да где и как в этом безобразии. Стена давным-давно облупилась причудливыми морщинками и наростами, узорами жизни. То Леночка подмигнет мне оттуда, то Сережа опять страдальчески поморщится, как он умел, то отец прикрикнет.

А ведь когда-то были квартира, волшебный фонарь и настоящие фонари на набережной, извозчики и опера, волшебный свет, сказочный снег, чарующая музыка и легкая дрожь по коже. Снег тогда был ласковым и пушистым. Не то, что сейчас. Мне грех жаловаться, детство было сказочным и добрым.

Зато зрелость забрала все, это закон сохранения счастья в действии.

Если развивать эту мысль: чего бы я хотел более? Несчастливого детства и благополучной зрелости? Честно говоря, не знаю

Я смотрю на себя в зеркало, на свою небритую физиономию, растресканные сухие губы и синяки под глазами и с ужасом замечаю, что в комнате есть кто-то еще. Он в офицерской форме, откуда она взялась в наше время? Человек этот лезет в мой шкаф, достает оттуда мои рукописи и делает из них самокрутки.

– Позвольте, кто вы такой? И что вы делаете?

– Курить очень хочется, поручик. Замечательная бумага, горит как факел и не воняет.

– Не смейте! Не трогайте ее письма, это все, что у меня осталось, не смейте! Убирайтесь немедленно!

– Это ты сам их жжешь, чудак. Я лишь твое отражение.....

– Негодяй, подлец, а еще офицер! Вон отсюда!

Звон стекла. Я разбил зеркало, жалкое, мещанское. Видение мое исчезло. Порезал палец, течет кровь. Какое убожество!

Я смотрю на кучку пепла. К счастью, я не успел сжечь все. Одно из ранних ее писем, ничего особенного. Остались обрывки слов из округлого гимназического почерка.

Кровь меня не волнует, обычный порез. Я опускаюсь на пол и судорожно вспоминаю тот осенний день. Тогда я вроде бы подавал надежды...

– Владимир Николаевич, позвольте проверить, что вы там...

Я все сделал правильно, но сердце сжимается, в желудке холод... Труп крестьянина передо мной. Лицо у него хитрое, будто и в момент встречи с Господом он хотел продать обоз овса втридорога.

– Владимир Николаевич, – профессор обнял меня. – Дорогой. У вас талантливая рука. У меня на это чутье.

– Да что вы, Валериан Петрович. Я просто выучил ваши лекции.

– Угу, – подмигивает мне он. – А Давида Микеланджело могли бы святить? Я в лекциях опишу процесс: взяли глыбу мрамора, изваяли голову, грудь, руки.

– Зачем вы сравниваете?

– А затем, Володя. Рука талантливого хирурга – это дар, подобный, и даже ценнее дара художника. Только нас не помнят. Парацельса, разве что. Человек, он как устроен – сегодня болит, завтра вылечили, и Слава Всевышнему. Дорогой, давайте у меня заниматься вечерами в анатомическом театре. У нас, так сказать, маленькая группа единомышленников. Согласны?

– Вы делаете мне честь. Клянусь...

– Оставьте ваши аристократические экивоки, мы и сами, так сказать. Итак, коллега, надрез делается решительно и безжалостно, безо всяких интеллигентских комплексов. Вот так...

Гениальный хирург, профессор и мой учитель умер от голода. Лучшие всегда умирают первыми, к жизни они плохо приспособлены. Купчики жировали икоркой и семгой, растерянные комиссары получали пайку и устраивали террор, а Валериан Петрович вдруг начал говорить загадками и упал в середине лекции. Потом выяснилось: скудный паек свой он делил со студентами.

Спать, пора спать. Завтра в больницу: оперировать, стиснув зубы, не понимая, зачем живу, встаю, хожу на службу.

Ужас в том, что и сон не приносит мне успокоения. Вот уже второй год снится Сережа, и тот вечер, закат, холмики. Господи, ну что тебе стоит, дай мне покой, ну почему укол прозрачной жидкости – единственное, что осталось в моей жизни.

Неужели я все-таки морфинист?

5.

Опять этот проклятый сон, преследующий меня вот уже несколько лет. Сергей выходит из стены и садится на кровать. Молча закуривает. Он всегда молчит и смотрит на меня.

– Не смотри на меня так. Ты сделал свой выбор. А я свой, и порой жалею об этом.

Он прикрывает глаза, будто в знак согласия.

– Быть может, друг мой, ты сделал правильно. Я на что-то еще надеялся. Да, понимаю, лгу сам себе. Я просто не хотел умирать.

Сергей молчит...

Той ночью мы пили коньяк с особенной страстью, которую рождает предчувствие катастрофы. Полупьяные актрисы хотели поехать с нами гулять, но Сергей сказал, сжав зубы «Перед смертью грешить не хочу».

К утру хмель рассеялся вместе с уходящими частями. Остались маленький неуютный городок, река и мост. Войска отошли к Новороссийску, за ними тянулись обозы. Медленно тянулись, как в синематографе. Хотелось заорать: да быстрее вы, сволочи, быстрее! Но куда там. Сплошная нелепость, да еще какая-то дура начала рожать и орала низким, грудным бабьим голосом.

Нас с Сергеем оставили на верную смерть – держать оборону на мосту, попытаться дать обозу добраться до Новороссийска. По-хорошему, мост надо было бы взорвать, да динамита не осталось – разворовали, сволочи, обменяли на водку и жратву.

Обреченность свою мы понимали, но уйти не могли – в обозах женщины и дети. И на все про все один пулемет и несколько солдатиков с винтовками, которым умирать неизвестно за что совершенно не хотелось. Человек пять тихо дезертировали уже в первые часы, и поймать их не было никакой возможности. Остальные пока держались, хмуρο поглядывая на нас.

Мы с Сережей поцеловались, сделали несколько глотков из походной фляжки. Неотвратимость – не дай Бог испытать это холодящее душу чувство.

Красные входили в город ближе к вечеру. Наступающие части встретил пулемет, тут же началась стрельба со всех сторон и сопутствующая неразбериха, во время которой оставшиеся в живых солдатики наши благополучно разбежались, сдирая с себя шинели. Патроны закончились, больше мы ничего сделать не могли и оставалось либо принять смерть, либо уходить. Матерясь, мы отползли к мазанкам, стоявшим над рекой – был

шанс спрятаться. Задыхаясь от напряжения, мы начали сдирать с себя форму.

– Унизительно, – Сергей неожиданно вздрогнул. – Русский офицер прячется от русских же мужиков, раздевается до исподнего.

– Прекрати немедленно, Сережа. Честь мы не уронили, сделали все, что могли. Теперь надо попытаться выжить.

– А зачем жить теперь? – Сергей вдруг начал застегивать пуговицы. – Ты задумывался, зачем теперь жить?

– Ты что, с ума сошел? Сережа, прекрати истерику!

– Прощай, друг, не держи меня.

Сергей встал, отряхнул грязь, насколько это было возможно, и вышел на дорогу, спускающуюся к мосту. Он пошел навстречу красным, первые отряды которых уже вступали на мост.

Дьявол, мать твою, что же ты делаешь, Сережа, – рычал я, но будто какая-то сила вдавила меня в землю, и встать я не смог.

С моста слышалось оживленное улюлюканье, крики, и началась стрельба. Как ни удивительно, попасть в Сергея не удалось довольно долго, а может быть мгновения эти показались мне вечностью. Он шел навстречу смерти небрежной походкой горожанина, прогуливающегося по бульвару. Потом Сергей пошатнулся и не торопясь присел, глядя перед собой. Потом прилег, как ложится отдохнуть уставший человек: положил руки под голову и, казалось, успокоился. Потом начались конвульсии.

Последнее, что осталось в памяти и поразило меня безучастностью природы к делам людским – необыкновенно красивый закат: пышные библейские облака и красное, как кровь, солнце.

Я потерял сознание. Не знаю, сколько я пролежал в этой полуразрушенной хате – может быть день, а может быть и два. Спасло меня то, что красные торопились и в городе не задержались. У них впереди был Новороссийск со всеми штабами, генералами, складами и беженцами.

6.

Вот и утро. Опять не спал, глазищи красные, руки дрожат. И так уже давно. Ну почему у нас жизнь должна быть запредельной, уж если страдание – так умри, если согласие, так лижи пятки.

Меня прошибает пот, и в глазах звездочки. Кто-то из великих сказал, что империи – ничто, а любовь останется вечной. Чертов идеалист. Высочайшие порывы духа упираются в закопченный чайник и сырой хворост, который дымит как сволочь.

Холод пробирает существо мое, арктический холод, льдины и сталактиты в пещерах, и ничего не осталось, кроме полярного сияния и вечной мерзлоты. Чая, чая, горячего, густого. Он вернет меня к жизни, к этой гадкой суете и бездорожью, к этому вытертому коврику, к этой непреходящей боли.

Лена, Леночка. Девочка, милая. Последняя надежда моя, единственная любовь моя. Мы с ней будто связаны невидимой ниточкой судьбы, кто мог знать, что спустя десять лет мы окажемся рядом, в залитой грязью и туманом провинциальной дыре. И что моя Леночка станет женой нового хозяина жизни, бывшего то ли счетовода, то ли ремесленника со стеклянными глазами и в обязательном френче с кобурой.

Господи, какой день. Болячки человеческие накапливаются и прорываются гноем. Леночка, почему ты ходишь в этой кожаной гадости с платком на голове и выступаешь на

собраниях? Лена, что с тобой. Только не говори, что ты приняла историческую необходимость, или что-то там еще из их убого лексикона. Неужели ты восхищаешься мужеством этих убийц? Прости меня, но неужели ты спишь с этим животным? Лена. Только не это. Умоляю тебя, даже если ты с ним близка, скажи, что это не так.

Вот, пожалуйста, прочти письмо, которое я написал пару недель назад.

«Я стараюсь о тебе не думать, потому что боюсь. Да, трушу, стыжусь самого себя, корю совесть. Да и неловко в моем положении столь страстно желать чужую жену. И боюсь разговаривать с тобой. И отгоняю от себя эти мысли, и только ночью мечтаю и вспоминаю, и еще раз, и еще.

Я вспоминаю твое тело, твое лицо, твою грудь, и наши полудетские поцелую и объятия, которыми наградил нас Господь. И ночами приходишь ты в мои сны, бесстыжая и нагая, светлая и любимая. Почему не соединились наши судьбы давным-давно? И почему люди обречены на поиск своих спутников, молекул, духовных единиц, без которых жизнь подобна казни, и почему они их не находят, или находят тогда, когда менять жизнь уже поздно. И когда остается лишь мечтать о близости, средней между духовной и физической, впрочем не имеющей особого смысла. Но все же желанной, ударяющей сознание, убивающей рассудок.

Стоит только подумать о тебе, и я не могу дышать. И за что, и зачем. И какая ерунда, вроде бы уже не восемнадцать мне лет. Резонанс. Станный, затягивающий и необъяснимый. Я хочу тебя. Хочу со всей страстной силой, понимая при этом всю изменчивость своих помыслов. Это на уровне инстинкта, я хочу обладать тобой, и умереть после, пусть хоть на позорном столбе.

Вот ведь какая магия, черт бы ее побрал. Я хочу слиться с тобой, не отпускать тебя ни на секунду, и, извини за откровенность, находиться в вечном греховном слиянии.

Меня убьют где-нибудь или расстреляют, да и мужа твоего скорее всего тоже. Ты поплачешь и выйдешь замуж за очередного хозяина жизни, кем бы он ни был. Но я все равно буду прилетать к тебе ночами, оттуда, из небесных сфер, и заставлять тебя изменять своему супругу, я буду шептать тебе на ухо нежные слова любви.

Может быть ты мирно доживешь до старости, может быть уничтожат и тебя – они не знают пощады. Встретимся на небесах или в будущей жизни.

Если ты все-таки захочешь увидеть меня, умоляю, дай знать. Я люблю тебя. При мысли о том, что этот плохо выбритый и туповатый монстр целует тебя, я схожу с ума. При мысли о том, что это происходит здесь, рядом, на соседней грязной улице, я корчусь ночами и кусаю губы.

Только не молчи, только скажи что-нибудь. Что через неделю, месяц, полгода ты улизнешь и будешь со мной, часа два, а лучше целую ночь. Если это случится – я готов умереть. Помнишь еще легенду про царицу Тамару?

Леночка. Я безумен, понимаю, готов согласиться, но люблю. А это сродни морфину. А возможно, и хуже...»

Сжечь, сжечь. Или все-таки послать? Не дай Бог увидит ее большевистский супруг, завтра же меня заберут и расстреляют в том самом овражке. Ну и черт с ними, жить мне все равно не зачем.

Нет, решено, передам. Пусть прочтет, если хоть что-то вздрогнет на миг в ее душе, это стоит жизни. А ведь, черт возьми, какая славная пустота, дьявольский огонь и нега внутри!

Пить с утра перед операцией – значит пасть окончательно и бесповоротно. Хирургия не терпит запоев. К тому же, водка препаршивейшая, как врач говорю. От такой запросто можно отдать концы и обратиться душой к всевышнему. Может быть, это и к лучшему. По крайней мере, я забуду о Лене и Сергее.

Недостойно. Тут мир рушится, а я все... И о смерти. Чего вообще стоят усилия цивилизации и культуры? Чуть копни, чуть потревожь эту черную магму, неслышно потрескивающую под благополучной на вид оболочкой – улицами, храмами, трактирами и доходными домами, как первобытная ненависть вырывается наружу и крушит все, к чему прикоснется. Насилуют своих же, пролетарски сознательных баб, сжигают картины великих мастеров и бесценные книги, уничтожают знание законов природы, подменяя их бездумным рассуждением о превосходстве классового разума. Если бы я был философом, то утешился бы общими рассуждениями, мол, пройдет десяток–другой лет, страсти улягутся, жизнь возьмет свое, кесарю – кесарево. Нет, я не философ. Я видел трупы на обочине разбитой дороги. Настоящие трупы, человечьи, в снегу, в шинелях, с криком на замерзшем лице.

В детстве я однажды раздавил лягушонка. Черт его знает, почему – из инстинкта охотника. Он прыгал, пытался спастись, черненький, склизкий, а я, в ярких штанишках и новых сандаликах, в азарте пытался его догнать.

– Володя, – кричала мама. – Володя, не смей.

Но было поздно, кожаный сандалик с детским носком настиг черное тельце и превратил творение Божие в мутную горку склизи.

– Что ты наделал? За что ты убил его? – Рассердилась мама. – Ведь он бежал к своей маме–лягушке, он не сделал тебе ничего плохого.

Господи, как стыдно мне стало, как я рыдал, и пытался оживить его, и вспоминал, как лягушонок в отчаянии уворачивался от моих ножек. Боль в сердце жива до сих пор. Больно, больно, слишком чувствительными воспитали нас, оттого и все беды нашей родины. С варварами надо разговаривать языком силы, крови. А мы не можем, мы классиков начитались. А они, которые плоть от плоти, их не читали, потому новорожденного племянника моего в пьяном угаре схватили за ножки и головкой об стенку. Говорят, сестренка после этого полгода не разговаривала. Как–то там она теперь? Стыдно, уже месяц не писал, да и на последнее письмо ответил что–то бессвязное. Господи, помоги ей в жизни, ты же помогаешь страждущим и несчастным в страшные времена, иначе бы тебя не было.

Стучат в дверь. Кого несет в этот час?

– Товарищ Щукин, срочно надлежит сдать план коммунистических обязательств нашей больницы! За вами послали, опаздываем.

Ааа.... Слава Богу. Это Лупников, бывший санитар–недоучка. Рыжеволосый гигант с гниловатыми зубами. Хозяин новой жизни, секретарь организации красных и пролетарских санитаров.

– Завтра, милейший, завтра, я что–то приболел.

– Ага, – Лупников хитро скалится. – Я тоже так болеть люблю.

– Держи стакан, товарищ Лупников, – вздыхаю я. – И пей залпом за общее дело пролетариата, как полагается.

– Это всегда можно, – соглашается секретарь. Но чтобы план, доктор, завтра был представлен. Дело ответственное.

– Да, и еще, Лупников, поскольку у меня жар, оперировать сегодня не смогу. Там как, критические случаи есть?

– Мужик какой–то с грыжей. Матерится ну точно, как вы. Пара горожан и солдат. Чирий у него на ноге, грязь занес.

– Товарищ Лупников, – на лице у меня появляется маска ответственности. – Мы, работники новой, социалистической медицины, должны помогать пролетариям, ожидающим медицинской помощи от государства рабочего класса. Так?

– А что вы имеете в виду, доктор?

На губе у него мелкие капельки пота, на лбу тоже – верный признак напряженной умственной деятельности.

– Я, Лупников, давно осознал ошибки и накипь происхождения. Мы должны лечить пролетариат несмотря на. На то он и победивший класс, который стремится освободить все прогрессивное человечество. Как говорил (я запнулся) – великий вождь мирового пролетариата – классовая солидарность всех трудящихся. Ну, где там этот больной с грыжей? Переплывем Стикс, в конце концов!

– Да нет, доктор, – засуетился Лупников. – Плыть никуда не надо, здесь же пешком, что вы, ей Богу загадками какими-то говорите.

8.

И ведь оперировал весь день, преодолевая тошноту и дрожь в пальцах. Может ли быть более чужеродное тело в этой больнице убогого города, разрушенного войной и ничтожеством власть держащих? Что я здесь делаю, почему застрял? Неужели мне доставляет удовольствие прозябать в своей каморке, а с утра месить сапогами грязь? Почему я не поехал домой, вслед за сестрой, ведь ей тяжело одной. Или это страсть к саморазрушению? Тайное желание смерти, столь близкой и доступной на войне, словно поманившей меня за собой.

Нет, по здравому рассуждению я не хочу умирать. Идея самоубийства всегда была мне чужда. Тем более, учитывая мою профессию.

Я просто кусочек невидимой ткани организма, оторванной от тела шрапнелью и выброшенной за окоп. В этом кусочке еще некоторое время пульсирует кровь, происходят обменные процессы, но без материнского тела, сердца и системы сосудов существование его обречено. Кровь сворачивается, остывает, запекается. Скорей бы уже...

Опять стучат в дверь. Как они мне надоели.

– Иду, иду....

– Здравствуй, Володя.

Господи, пусть разверзнутся недра земные, и ветры черные сгустятся над нами, я не могу. Дрожь охватывает конечности мои, я не принадлежу себе более, это стыдно и недостойно, но ничего не осталось у меня, кроме постыдной страсти к этой женщине.

– Леночка. Ты получила письмо? Ты все-таки пришла.

– А вы, Володя, однако... Забыли что ли где и когда живете, Владимир Николаевич?

– Не забыл.

– А зачем так рискуете? Муж мой, знаете ли...

– Знаю, Леночка, все знаю.

– Так зачем же все это? Я давно уже другая, забудьте прошлое.

– Леночка, я люблю тебя, я всегда тебя любил.

– Володя, что ты делаешь?

Я вдыхаю запах ее волос и начинаю целовать, вначале она отталкивает меня, но дыхание ее становится прерывистым.

– Господи, как же я по тебе соскучился. Помнишь, как ты убежала от отца и мы гуляли в парке? Я тогда в первый раз тебя поцеловал..

– Молчи. Я тебя ненавижу, глупый!

Это легкий, греховный туман, застилающий глаза. И все, и будь что будет, и ничего больше не надо, и пусть завтра смерть, я уже не боюсь. Лена, Леночка, единственная моя, любовь моя.

Странное чувство – боль, смешанная с опустошением. На губах у нее горькая складка, время от времени она поджимает их, словно мысленно разговаривает сама с собой.

– Мне пора, Володя.

– Одно только объясни мне: что с тобой?

– Ты о чем?

– Ты знаешь. Эта кожанка, этот платок, этот муж. Как ты могла? Как ты можешь?

– Вы слишком много себе позволяете, Владимир Николаевич.

– Не смей предавать душу! Ведь у тебя же есть душа, я знаю. Или лучше знаешь что, если боишься – иди, Лена, донеси на меня. Клянусь тебе, я не против.

– У меня своя жизнь. Я сделала свой выбор и о нем не жалею.

Когда видишь, как на лице у любимой женщины, встающей с постели появляется маска отчуждения, то понимаешь, что любовь – это просто боль, ревность и вакуум души.

– Я больше не приду, Володя. И запомни, навсегда запомни: ничего не было. Не пиши мне, не приходи больше. Мы незнакомы, слышишь? Иначе ты попадешь в расстрельные списки и никто не сможет тебе помочь.

– Лена. Приди еще хотя бы один раз, я умоляю тебя.

– Нет, я и так всем рискую. Сумасшествие какое-то. Прощай.

Ууу. Ууу, вою и корчусь как раненый волк. И так до судорог. О, Боги. Нет вас на этой земле, нет.

9.

Тянулись дни мои, тянулись, все глубже погружался я в бездну. И вот, представьте себе, да такое и представить невозможно. Посреди всего этого кошмара, грязи, голода и смертей вдруг возникает ангел.

В каждом, самом захолустном и грязном городке России даже в самые страшные времена отечественной истории обязательно найдется какая-нибудь дама преклонных лет, будь она монархисткой или попросту старой девой, средних лет, вспоминающая первый и единственный поцелуй с заезжим офицериком. Так вот, эта дама устроит литературные чтения, будет восхвалять Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича, пройдет по новомодным течениям в литературе и непременно пригласит множество юных особей женского пола. Откуда они только берутся, эти провинциальные девочки с бледными личиками и прыщиками на лбу, чахоточные мотыльки смутного времени.

И отказать – то я в посещении почему – то не смог.

Она стояла у стены. Внешне она была не столь привлекательна, но внутренней чистотой сияло от нее и глаза ее светились.

У меня перехватило дыхание и сразу же стало неловко за потертый костюм и рубашку с нитками, торчащими из обтрепавшихся рукавов.

Она увидела мое смущение и улыбнулась.

В тот момент я понял, что должен, просто обязан заговорить с ней.

– Откуда вы здесь? – спросил я, задыхаясь.

– Мы уже три года, как живем у двоюродной сестры мамы. А я вас знаю, Владимир Николаевич, – улыбнулась она. – Мама у вас в прошлом году лечилась, я даже в больницу несколько раз приходила, не помните?

Она звалась Татьяной. Нет, ей–богу, девушка эта была святой. Мы крепко подружились. Она приносила мне книги, убиралась в комнате, даже готовила обед, когда было из чего. И мы разговаривали, разговаривали подолгу, она освещала мое бытие, вернула мне ощущение жизни, рассудка, смысла, давно утерянного и забытого. Я даже почти прекратил вкалывать себе морфий, только изредка, когда ночами совсем становилось невозможно дышать.

Я о многом ей рассказал: о семье, о Сергее и даже о Лене, хотя и несколько опасался последствий.

Однажды в начале апреля мы сидели вечером в моей облагороженной обители и пили чай.

– Владимир Николаевич, я хочу, чтобы вы знали, как я к Вам отношусь. Вы умница, тонкий и образованный человек, вы губите себя.

– Танечка, милая, спасибо Вам. Но право, не жалеете меня, жизнь моя закончилась несколько лет назад, Вам это вряд ли удастся понять.

– Мне больно видеть, как вы уничтожаете себя из–за этой женщины... Забудьте ее, время все стирает.

– Ах, Танечка. Вы не знаете, что такое любовь, что такое страсть. К счастью. Желаю вам, чтобы в судьбе вашей не было такого. От всей души желаю.

– Почему вы думаете, собственно, что я не знаю ничего про любовь?

– Вы еще слишком молоды. И знаете, я открою вам секрет, который не знает еще не одна живая душа: я пристрастился к морфию, только он один и дает мне успокоение. Каждый раз ругаю себя, рискую. Вот, посмотрите – я показал ей мерзкие следы от уколов.

– Боже. Боже, что вы делаете! Это все из–за нее, – содрогнулась Таня. Почему, почему жизнь так мерзка? – Она зарыдала.

– На то она и жизнь, – я обнял ее худые плечики и с тоской подумал, что единственное, чего мне пока не хватало – утешать детей.

– Вы поделились со мной своей тайной, давайте и я поделюсь. Я люблю Вас.

– Что вы сказали, Танечка? – обомлел я.

– Да, да, я люблю Вас, Владимир Николаевич. Люблю, несмотря ни на что, я люблю вас всей душой, всем сердцем. Я на все ради вас готова, я готова принять страдания, душевные и физические, я...

– Остановитесь, милая. Да Господь с Вами! Я старше вас на почти на двадцать лет, – мне стало неловко. – Это пройдет, Танечка, пройдет. Вам нужно меньше читать литературы и больше думать о будущем, вы кого–нибудь встретите..

– Скажите, вы меня совсем–совсем, ну ни капельки не любите? Я некрасивая, да? Скажите только честно, я все выдержу, я клянусь!

– Танечка, ну что вы, право. Вы прелесть, у вас красивые глаза, нежные губы. Когда я в первый раз увидел вас, у меня дрогнуло сердце. Вы прекрасны. Берегите себя, в вас обязательно влюбится прекрасный молодой человек.

– Вы врете! Я вам противна!

– Ну что вы, Танечка. Господи, милая, вы же совсем ребенок, – я поцеловал ее в щечку, прижал губами мокрые веки и крепко обнял. – Милая, хорошая, замечательная

девочка, дорогая моя. Вы видите, я падаю вниз, и чем дальше, тем стремительней, как бы это сказать, мой цикл жизни на исходе, мое время прошло, хотя я еще относительно молод. Все дело в душевной усталости, а душа у меня уже изношена, как у старика.

– Вы не должны, Володя. Вы не смеете!

Она начала целовать меня, вначале робко, в щеку, потом в губы, и мне было неловко за крепкий аромат табака изо рта, но уже горячее женское дыхание начало одурманивать мозг. Рассудком я понимал, что не должен, не имею права, но с каждым вздохом и поцелуем Танечки рассудка этого оставалось все меньше. А когда она со стоном спустила с плеч вытертого платице, его совсем не осталось.

После меня была нервная дрожь и ощущение того, что совершил подлость. Танечка свернулась калачиком под одеялом, я оставил ее и выбежал из дома. В больницу я не пошел, я помчался разыскивать Лену. К несчастью, разыскать ее оказалось просто: она была на службе.

10.

Внезапное появление Владимира Николаевича и его страстные объяснения на глазах у сослуживцев Лену перепугали. В ту ночь муж ее был в отъезде, и она написала анонимное письмо:

«Как пациентка областной больницы и сочувствующая делу пролетарской революции заявляю, что доктор Щукин по сути тайный белогвардеец, сын царского офицера и тайный противник власти Советов. О чем неоднократно высказывался на визитах в городскую больницу, подрывая основы нарождающейся жизни и народного счастья и открыто призывая к контрреволюции»

Письмо она положила в ящик стола, пошла пить чай, и с удивлением обнаружила нервную экзему на руках, ближе к запястью. Что-то смутное крутилось в сознании, пробивалось наружу... Были там Володя, отец, детство, женщины в длинных платьях.

– Нет, не могу, – сказала себе Лена. Хотела порвать конверт, но передумала и пошла спать.

Утром она отправила письмо собственному мужу.

Владимира Николаевича тут же взяли. Его допрашивали, но почему-то отпустили. Возможно, потому что врачей в округе найти было невозможно, а партийное начальство время от времени болело, несмотря на железную революционную волю. А может быть надеялись выследить несуществующую контрреволюционную организацию.

Тут подошел Первомай.

Санитары и врачи суетились около больницы, готовясь принять участие в демонстрации. Владимир Николаевич, вследствие большой дозы морфия грезил, прикрывая глаза, вспоминая то отца, то Леночку, то Таню.

– Товарищ Щукин, – ухмыляясь сообщил бывший санитар Лупников. – Тебе, как социально чуждому, но примкнувшему, революция поручила нести во главе колонны красное знамя.

– Ступай, Лупников, – Володя был на рождестве в Петербурге, и Танечка была рядом.

– Или, доктор, несете знамя, или сами знаете – подмигнул рыжий. В вашем-то нынешнем положении.

– Иуды чертовы. Это что, я таким образом должен доказать свою невиновность? Кто тебя подслал, Лупников?

– Поручили, – смутился санитар.

– Вот как. Так вот, передай им, что я, потомственный дворянин, не буду нести вашу красную хамскую тряпку! Пошли к чертовой матери! Хамы, сволочи, и убийцы!

Володя швырнул знамя на землю и начал топтать его ногами.

– Да ты что, доктор? – Лупников поначалу перепугался, но взял в себя руки и оскалился. – С цепи что ли сорвался, буржуй проклятый?

– Пошел вон, собака, – Щукин ощутил холодное спокойствие. – Ненавижу! Всех вас ненавижу. Всех, слышите, всех!

Его взяли спустя несколько минут и расстреляли в тот же первомайский вечер в овраге за городом. Никто об этом не знал, доктор просто исчез, будто его и не было никогда. Крестьяне и мещане маялись и даже мерли, пока не прислали молодого врача из районного центра. Он проработал лет пять, пока его не посадили в лагерь, на этот раз уже и даже доноса не потребовалось.

11.

У Тани через восемь месяцев родилась девочка, Елена Владимировна, или просто тетя Ляля. Вряд ли назвали тетю Лялю в честь женщины, погубившей Владимира Николаевича, выбор этого имени кажется странным, учитывая обстоятельства его гибели.

Вскоре Татьяна Алексеевна с дочкой перебралась в Ленинград, где их приютили чудом выжившие в Новороссийске мать Володи и его сестра, мои прабабушка с бабушкой. Таня и прабабушка погибли от голода в Ленинграде во время блокады, в 1942 году, бабушка каким-то чудом выжила. Тетю Лялю успели эвакуировать в последний момент – из города вывозили детские сады. После войны ее разыскал и взял к себе родственник Татьяны Алексеевны, о котором я почти ничего не знаю.

Во время визита президента Никсона в Москву (а было это году в 1972 и учился я в пятом классе), тетя Ляля приехала к бабушке в гости. Помню, мы долго гуляли по лесопарку около канала имени Москвы, а потом рассматривали старые, дореволюционные фотографии. Бабушка очень любила брата, плакала, рассказывала тетке все эти истории, вспоминала детство. Тогда я впервые услышал фразу «это морфий его погубил» и узнал про книгу, изданную бабушкиным братом еще до революции.

На прощание тетя Ляля обняла меня и поцеловала. Было это в метро, на станции «Площадь Революции». В вестибюле пахло керосином, вокруг напряженно сидели революционные бронзовые матросы и солдатики с парабеллумами в руках.

«Ненавижу эту станцию. Ну, прощай. Может и не увидимся больше.» – сказала вдруг она.

Через несколько месяцев Елена Владимировна скорпостижно умерла от рака крови. Сыновья ее, Вадим и Женя, были уже совсем взрослыми, бородатыми мужиками, выпускниками Политеха. Только какие-то черты – брови, овал глаз и ямочки под губами напоминали о нашем дальнем родстве.

Я пытался найти в архивах злополучного уездного южного городка хоть какие-нибудь упоминания о судьбе Владимира Николаевича, но тело его, как и душа его, исчезли без следа.

Вроде бы, если верить архивам, и комиссара-чекиста, и жену его Леночку, арестовали в конце тридцатых годов, оба они сгинули. Справедливости или исторического возмездия в этой бездне искать не имеет смысла.

Еще удалось найти ссылку на книгу стихов Володи «Лепестки Граната», изданную в

1916 году. Самой книги, кажется, найти уже не суждено. Вот и подумалось: надо бы записать все это для истории, хотя бы по памяти, а то исчезнет навсегда и растворится в бездонном времени.

Так я и сделал. Во время последнего визита к старикам-родителям нашелся бабушкин портфель с фотографией, где они с Володей сидят на террасе, увитой виноградом. Володя только что издал книгу, симпатичное, тонкое лицо, хороший костюм. Бабушке 16 лет, она в кружевном платье, молодая, полная ожидания жизни.

За их спиной – холмы Грузии с цветущими гранатовыми деревьями. На обороте подпись: Фотографическое агентство. А.Ф. Брукса. Тифлис. 1916 год.

Ангел смерти

-1.

Когда я заканчивал десятый класс, у сестры, живущей в пенале общежития МГУ, подошла многолетняя очередь на университетский кооператив в Теплом Стане. В апреле у нее родилась дочка.

Сестре хотелось купить трехкомнатную квартиру, но в те годы молодой семье с одним ребенком положены были только две комнаты. Не помогли ни кандидатские льготы, ни письма в исполком. Тогда решено было, что бабушка пропишется у любимой внучки под предлогом ухода последней за престарелой. А заодно и с правнучкой помощь выйдет.

Так мы перевезли бабушку в Теплый Стан. До сих пор помню служебный ГАЗик, в который погрузили два потертых чемодана. Бабушка прощалась с пенсионерами, обитавшими в нашем доме, в кабине стоял запах пряных стариковских духов. Потом – кольцевая дорога, девятиэтажна, аромат свежей краски в подъезде и показавшаяся мне огромной квартира на восьмом этаже. Сразу за домом уходил к Юго-Западу лесной массив, справа пробивался сквозь дымку университетский шпиль.

У меня появилась собственная комната, в которой можно было слушать музыку, курить и читать до рассвета.

Бабушка на новом месте так и не освоилась. Она привыкла к дому, в котором прожила почти пятнадцать лет, к соседям, обоям, трещинам на потолке, отдаленному гулу электричек. При каждом удобном случае она выбиралась в гости, жаловалась на духоту и давку в автобусах, общалась с соседями-пенсионерами и расхваливала наш микрорайон.

– Все-таки, – говорила она, – район у нас зеленый. Я так люблю липы, тополи. А у них что? Посадили между домами три деревца, – презрительно морщилась старушка. – Ни тени, ни прохлады, один бетон!

– Но мама, – раздражалась мать. – Скажи спасибо, что вообще деревья посадили, это же новый микрорайон. И потом, грех тебе жаловаться, выйдешь из подъезда – и сразу же лес.

– Да разве это лес? Темный какой-то, весь заросший. Вот у нас лесопарк – красота, сосны, канал.

– Мама, если бы ты знала, как я устала от твоих сентенций.

– Не сердись, – соглашалась бабушка. – У старых людей свои причуды. Я люблю эту квартиру, – она мечтательно закатывала глаза. – Надеялась я, что доживу свой век здесь, вместе с Сашенькой.

– Мальчик поступил в институт. Ему надо заниматься. И вообще, у него теперь своя жизнь.

– Ну и пусть занимается, – мило улыбалась бабушка. А я бы сидела с вами тихонько в комнате, смотрела телевизор. Разве я вам мешаю? Ведь как раньше было хорошо, какие фильмы замечательные. «Семнадцать мгновений весны». «Следствие ведут знатоки». А теперь такую дрянь снимают, смотреть нечего!

– Я пойду, схожу в овощной. – Отец начинал тихо закипать.

– Да, у нас картошка на исходе, – соглашалась мама. – И репчатый лук не забудь. Знаешь что, сходил бы ты в овощной на Фестивальной, там как-то снабжение получше. На прошлой неделе к ним морковь завезли и кабачки, Алевтина Петровна в пятницу три

кило притащила.

– Вот и отлично, я тогда в хозяйственный загляну, – ворчал отец. – А то у меня сверло затупилось.

– А мы с Сашенькой прогуляемся, – улыбалась старушка. Помнишь, как в пятом классе мы изучали созвездия....

Пропали выходные. Прощайте институтские мои друзья, мудрый буддист Гера с бородкой и рыжеволосый Толик, обладатель уникальной коллекции записей группы «Куин». Прощайте, девочки, красное вино, сигареты. И ты, Таня, прощай. Прости, если сможешь... У каждого из нас в шкафу припрятан скелет прошлых грехов, обязанностей и долгов. А по долгам надо платить...

-2.

А вообще-то, взрослые зря думают, что малые дети ничего не понимают. Они понимают все без исключения, а в первую очередь – хрупкость окружающего их мира. Поскольку хрупкость эта угрожает существованию их детской оболочки, пахнущей манной кашей, мокрой от снега шубой и коммунальными коридорами.

Когда я был еще совсем маленьким, отец оказался на должности, которой мог позавидовать любой мало-мальски обладающий деловой жилкой человек. Его тогда назначили главным врачом СЭС. Для неграмотных: СЭС – это СанЭпидемСтанция. Что-то вроде Юнеско пополам со Всемирной Организацией Здравоохранения.

Ерунда, конечно. Но вот одна мелкая деталь: СЭС эта была бывшего Свердловского района Москвы. В подчинение ее входили все увеселительные и питательные организации столицы, включая чертову кучу центральных ресторанов. «Славянский Базар», «Арагви», и прочая, и прочая.

Когда мне было пять с небольшим лет, родители взяли меня в кино на фильм про доктора Айболита–бб. Вместо доброго человека в белом халате, кормившего бегемотиков гоголем–моголем, на экране кривлялись злодеи–бармалеи, время от времени тонущие в болотной тине. Нормальные герои всегда идут в обход. Родители хохотали, а мне было скучно.

Потом волшебство закончилось, при ярком дневном свете город был все тем же, пахнущим бензином, бесконечными улицами, и подгоревшей кухней. Запахи лука и томатной пасты будоражили воображение, и я начал хныкать.

– Есть хочу.

– Сейчас, приедем домой. – Бормотал отец.

– Давай зайдем куда-нибудь. У нас дома есть нечего, надо продукты покупать и готовить. Ну в конце концов, раз в несколько лет можем мы себе позволить...

– Ну хорошо. Только дорого выйдет.

– Ну на один день хотя бы, давай забудем об этом. Ну пожалуйста...

Только теперь я понимаю, какие высочайшие эмоции овладевали директором того самого «Арагви». при виде отца с женой и сыном.

– Какие люди, какие люди, – суетился он. Люба! – глаза его, казалось, в ту же секунду вывернутся из орбит.

– Что, Атос Авагенович?

– Люба... Сколько раз я тебе говорил, стелить на столики новые скатерти. Но-вы-е. Я по-русски понятно объясняюсь?

- Понятно, Атос Авагенович.
- Так ты меня понял, Люба?
- Поняла, Атос Авагенович. Но вы же сами вчера сказали...
- Люба!
- Все поняла. Шашлычку?
- Папа, папа, шашлычку...
- Тихо ты! Вы, Атос Авагенович не волнуйтесь, мы здесь просто так, с семьей зашли...
- Да разве я не понимаю, дорогой! Семья – самое главное, у нас говорили: жена и сын как лоза, посаженная с любовью. Для вас все самое лучшее, как для Черчилля, клянусь мамой! Люба! Приготовь отдельный кабинет!
- В котором Черчилль обедал?
- Тот занят. Нет, приготовь Цэковский.
- Атос Авагенович, неловко как-то. Нам бы обычный столик.
- Никаких возражений, дорогой. Ты у нас почетный гость, и семья твоя... Семья и семя от одного корня, понимаешь?

Долма мне не понравилась. Шашлык был вкусный, но жесткий. Хлеб, правда, пышный, горячий. А вообще, лучше бы мы в тот ресторан не ходили.

– Ты сам хорош, герой. Принципиальный весь из себя, а что сын твой живет в подвале тебе наплевать.

– Замолчи!

– Это ты молчи. Посмотри, что делается вокруг. Все твои дружки живут в центре, в кирпичных домах.

– Я не продавался, и продаваться не буду!

– Зато я теперь понимаю, почему твоя первая жена ушла к адмиралу.

– Все, – взревел отец. – Я больше не могу!

– И я тоже не могу. Идиотизм имеет границы. Мы живем в прогнившей стране и должны как-то жить. Да, не смотри на меня с ненавистью. Я не могу больше сидеть в этом коммунальном подвале, пахнущем плесенью, понимаешь?

-3.

– Вот оно как, – рассуждала мама, закутав меня в шубу. Да, в том июне в Москве выпал снег, так бывает в жизни. Снег был холодным и мокрым, станция железной дороги совершенно гадкой и склизкой. Улицы кирпичного квартала, построенного в конце войны – темными и зловещими. – Ты думаешь, я права? Нет. А зачем? Хочется жить по-человечески. Уходит жизнь, мне уже тридцать пять лет. Но ты, Саша, скажи. Когда мы к бабушке приедем улыбнись и скажи: «Свалились, как снег на голову». Она растает. Мне это сейчас просто-таки необходимо... Тем более, что бабушка наша тоже сложный экземпляр. Господи, за что мне все это, почему я не родилась в крестьянском срубе, и не видела жизнь, как она есть, в суровом чередовании рождений и смертей. Но ты все равно не поймешь. Ты про то, что бабушке сказать надо помнишь?

– Как снег на голову, – пробубнил я.

Про снег на голову я как раз понимал. На платформе шел снег, падал, таял, растворялся в свете прожектора.

И когда мы прошли по «Институтскому». проезду к улице «Октябрьской». и увидели

куцые балконы, мне не оставалось ничего, кроме как расплыться в идиотской улыбке трехлетнего пацана, и сказать:

– Бабуль. Свалились, как снег на голову. Папаня от нас уходит. Не сроднились они душевно. Пиздец, короче.

Так всегда говорил Коля из нашего двора, а он знал, что делает, ему было лет восемь, или даже девять, и мы боялись его как огня.

– О, Господи, Марина, чему ты научила ребенка! Что за ужасный блатной жаргон, вы так теперь разговариваете? – бабушка начала рыдать.

– Саша! – Мама начала плакать. – Где ты это услышал...

– Меня уже ничего не удивляет. Мальчик останется у меня.

– Мама. У нас сложный этап. Потом, эти соседские дети.

– Знаешь что, Марина, разбирайтесь. А ты пока отдай мне внука.

-4.

А я ведь понимал, что к чему. И, проснувшись на следующий день, поежился на сундуке и спросил:

– Ты моя бабушка?

– Угу.

– А кто мой дедушка?

– Какая тебе разница?

– Ну все–таки, ну пожалуйста, ну скажи!

– Ленин.

– Ты серьезно? – Я смотрел на нее голубыми глазами и думал об Инессе Арманд. – Так ты тоже Арманд?

– Дурачок, – засмеялась старушка. – Твой дедушка родом из Ярославля, лежит в Петрозаводске. Блокада его доконала. Но расписаны мы с ним не были, бумаги наши были не в порядке. Есть хочешь?

– Угу.

– Я кашу сварила. Поешь. Потом можешь поиграть во дворе. И почувствуй себя человеком.

– Человек – это звучит гордо, – вырвалось из меня.

– Наследственность, однако. Далеко пойдешь, – согласилась бабушка. – Иди, Саша, погуляй. Я устала.

– Я тоже устал, – согласился я.

– А ты от чего?

– От бессмысленности жизни. Так папа говорил.

– Какое совпадение... Господи, за что мне это?

– За грехи, – так всегда мама говорила.

– Ну, у кого грехов больше ангелы небесные разберутся.

– А это кто, ангелы?

– Ну, такие поросшие перьями кентавры. Как на картине. Господи, такой симпатичный был, все ко мне приставал. Вокзал какой–то расписывал.

– Бывает, ба. – Сам не знаю, откуда проснулся во мне инстинкт самосохранения. – Спать–то где буду?

– Здесь, на сундуке. Я одеяло подстелю.
– И буду я спать на сундуке этом четыре с половиной года. Я, собственно, не против. Город этот будет вечным, и время тоже вечно, и мертвые живы, они сидят на лавочках возле дома, они ждут творога в магазинах. И сгущаются тучи на горизонте, и пахнет прибитой к земле пылью, и воробей в истоме клюет гусеницу, и первый секретарь исполкома забрасывает удочку в пруд, и рождественские морозы, и драконы Комоду в «Клубе кинопутешественников». с лысым Сенкевичем. Нет, тогда Сенкевича еще в природе не было, а был странный старик с забытой фамилией вроде Штрилица, который изобрел пионерскую организацию. А все это было под Новый, тысяча девятьсот шестьдесят седьмой от рождества Христова год.

-5.

Утро в той шестиметровой комнате наступило внезапно. Рассвет взорвался цыганским хохотом, и сосредоточился на картине Куинджи. Фарфоровая тарелочка, лунная ночь.

– Айда на пруды!
– Темная ночь, только пули свистят по степи...
– Орешника за новую метлой.
– Давайте убирать снег и докажем, что мы, ученики второго класса пятой школы, достойны звания...
– Значит вы с Галей в одном классе учитесь? А я слесарь. Да, вот заказ Новогодний дали. Колбаску. Хочешь?
– На этом острове малина была сладкая. Вот мы и плавали туда-сюда, девчонкам ягоды...
– Господи, милая, зачем он тебе? Лысый дурак, ничего из себя не представляет. Я уверена, он просто хочет получить Московскую прописку.
– Ну мама, я его люблю!
Мокрые наволочки. Все-таки бабы дуры.
А потом появился симпатичный баптист-Володя, из шляхтичей. У него была хорошая улыбка. И на его удочку клевали бычки. И наволочки высохли.

-6.

На лестнице пахло влажной плесенью.
– Серега! Серега! Это полный финиш!
– Молодой человек, вы, надеюсь, имеете в виду грядущий концерт Генделя в зале Чайковского?
Это Александра Николаевна, бывшая старая дева, уверенная в том, что она была любовницей маршала Блюхера. В ее комнатке пахло валерианкой и бумагой от бесконечных томов Большой Советской Энциклопедии.
Никогда в своей жизни не строил я столь изощренных снежных замков, как в том городке. Рыцарские башенки соединялись подземными туннелями, ступени вели к покрытым льдом горкам, и фехтование огрызками Новогодних елок образца 1967 года считалось проявлением рыцарства.

Еще эти елки любили жечь посреди двора. И как-то незаметно наступила весна, а потом и лето.

Бабушка была озабочена какими-то бумагами, которые она складывала в толстую папку с тесемками. А мне приглянулся щенок на колхозном рынке. Стоил он пять рублей, скорее всего, хозяину не хватало на пару бутылок водки, но дешевле он щенка не отдавал.

Я мечтал о собаке. Сторожевой, конечно, но сошла бы и дворняжка.

– Дядь, – в десятый раз спрашивал я мужичка. – Почему щеночек?

– Пять рублей, сказал.

– А за рубль отдашь?

– Ишь, чего придумал...

– Очень собачку хочется.

– Раз хочется, ты бы каждый день по копейке откладывал. Глядишь, за год три шестьдесят две и скопил ... – Мужичок сглотнул слюну. – И на квас бы три копейки осталось.

– А за три шестьдесят две отдашь?

– Отдам, – уверенно сказал мужик, а щенок начал скулить.

Я помчался к бабушке.

– Бабуль, дай три шестьдесят две. Прошу тебя.

– Так, это интересно. Откуда такая сумма?

– Там щенок, на рынке. У него глаза, ты себе не представляешь. Он будет нас любить.

– В коммунальной квартире. А ты соседей спросил?

– Ну и что, бабушка, ну купи его, пожалуйста. Он добрый, он такой, как я всегда себе представлял.

– Нет, внучек. Это исключено.

– Тогда ты самая бездушная, жестокая и плохая! Я так хочу собаку, я...

– В таком случае – убирайся! Возьми у соседа удочку и пошел вон, чтобы я тебя не видела до вечера! Лови рыбу на прудах. Когда вернешься – попросишь прощенья. Понятно?

– Понятно, ба. – Мне стало стыдно. – А у кого удочку взять?

– У Виктора Васильевича, известное дело. Забыл, как он тебя водкой напоил?

-7.

Тот вечер в коммуналке я помню, как вчерашний день. Бабушке надо было куда-то срочно убежать, и меня сдали на хранение соседям – Виктору Васильевичу, рабочему заправочной службы аэропорта «Шереметьево», и Анне Васильевне, необъятной, пышущей жаром газовой сварщице, словно сошедшей с полотен Кустодиева.

В комнате у соседей было сумрачно. Справа стояла широкая кровать с кружевным покрывалом и непременно никелированными шпешечками, чуть подальше – стол, тоже покрытый кружевной скатертью, а напротив – буфет с невообразимым количеством всяческих фарфоровых статуэточек и вышитых платочков. Над буфетом возвышался вырезанный из дерева орел весьма хищного вида.

У Анны Васильевны начиналась газосварочная смена, и вскоре я остался один на один с Виктором Васильевичем. Полюбовавшись некоторое время резным орлом, я занялся делом – начал катать по кровати машинку, но вскоре зацепил и потянул нитку из

кружевного покрывала.

– Эх ты, вредитель – укоризненно обратился ко мне Виктор Васильевич. Большой же уже мужик, а покрывало испортил. Анька ругаться будет, что я ей скажу?

Мне стало неловко, и, кажется, я даже решил всплакнуть.

– Да не расстраивайся ты так, – махнул рукой Виктор Васильевич. – Бабы – они все такие, все им салфеточки, балериночки. А нам, мужикам, много ли надо? – С этими словами он достал из буфета бутылку водки, и немедленно выпил.

После третьей рюмки настроение соседа заметно повысилось. Он шутил, трепал меня по голове, обращался ко мне не иначе, как «мы, мужики». Потом Виктор Васильевич налил рюмку прозрачной жидкости и протянул ее мне.

Я покачал головой. Что-то говорило мне о том, что дядя Витя поступает неправильно, и дети не должны пить взрослую водичку.

– Да чего ты головой трясеешь, мужик ты, или нет?

Я зажмурился, взял рюмку из его рук, и залпом выпил, точно так же, как делал дядя Витя.

Водка была горькой и обожгла рот.

– Вот это по нашему, – обрадовался дядя Витя. – Вот это настоящий мужик. Молодец, Санек!

Надо ли говорить, что в голове у меня зашумело. Орел иронично выгнул голову и пошевелил своим деревянным крылом, готовясь взлететь. Фарфоровые статуэтки начали двигаться, комната поплыла перед глазами. Стало очень тепло, даже жарко.

Очнулся я уже в нашей комнатке, бабушка ругалась с Анной Васильевной, а Виктор Васильевич сконфуженно бормотал что-то про мужскую солидарность.

– Виктор Васильевич, здравствуйте!

– О, гвардеец! Привет. Ну, смотри-ка, вытянулся, повзрослел. Настоящий мужик, скоро в армию пойдешь.

– Витя, да что ты несешь. Ребенок еще в первый класс не поступил. Какая армия?

– А ты молчи, Анька. Молчи!

– Виктор Васильевич, а бабушка сказала, что у вас есть удочка.

– Конечно есть, от Сереги осталась. Он ведь, родимый, на учениях сгорел в танке. Помнишь, Санек, «Броня крепка и танки наши быстры». Какой красавец был, девки по нему сохли.

– Витя, – Анна Васильевна внесла в комнату кастрюлю с чем-то ароматным и наваристым.

– А что. Мужик, он и есть мужик. Отдал жизнь за Родину. Любка из пятого дома все приходила, то на новый год торт, то на девятое мая коньячку. Эх, Серега...

Дядя Витя открыл сервант и налил хрустальную рюмочку.

– Витя, – нерешительно застонала Анна Васильевна.

– Тебе больше не предлагаю. Потому как мал еще. – сурово сообщил Виктор Васильевич и выпил.

– Значит так. Удочкой этой еще Серега на прудах удил. Уж каких он карасей таскал – полкило, а то и больше. Золотистых и серебряных. Иди, Санек. Червей знаешь, где лучше всего копать? За станцией, там старые бревна лежат, копнешь – червь там хороший, красный. Рыба на него сразу бросается. ..

– Спасибо, дядя Витя, – я выбежал на улицу...

В тот день я поймал трех золотистых карасиков и с десятков бычков. И до сих пор мне снятся камыши около берега, заброшенная усадьба, дубы, полузатопленный островок и

лесная тропинка, поросшая орешником.

-8.

С тех пор прошло больше десяти лет. Почти что каждые выходные бабушка приезжала в гости. С девяти до половины десятого вечера она активно комментировала программу «Время», не оставляя без внимания ни одного события текущей международной обстановки и неизбежной битвы за урожай. В половину десятого старушка уходила в ванную, бурча себе под нос сложные мелодии своей молодости. Могу поклясться, что из-за крашеной бежевой краской двери доносился и «Шелковый Синий Платочек», и «Боже царя Храни», и «Врагу не сдается наш гордый Варяг». Около десяти часов бабушка ложилась спать и мучила меня разговорами, сводившимися к одному: как хорошо было раньше, когда я был маленьким, как ей нравилось жить со мной, провожать меня в школу, и как ей пусто и неуютно жить у сестры.

Серьезно все это вряд ли можно было воспринимать – все предыдущие годы бабушка рассказывала мне, какой замечательной, послушной, талантливой и золотой медалисткой была моя сестра, и с каким ужасным внуком, неряшливым, обманщиком и троечником ей теперь приходится мучиться.

В начале одиннадцатого начиналось самое страшное – на сон грядущий бабушка раздражалась нравоучительными сентенциями о преимуществах социалистического строя, и жаловалась на то, что ей не хватает общественной нагрузки и родного партийного участка, состоящего из впадающих в маразм пенсионеров.

Я стонал. Мне хотелось курить, на носу был очередной экзамен, срывалась вечеринка с приятелями, а я лежал с открытыми глазами и выслушивал весь этот бред.

Я вспоминал, как в пионерском детстве изощренно издевался над старушкой. Помню, как однажды пошел за молоком, позвонил домой из телефонной будки, и скорбным голосом сообщил, что говорит новый секретарь парторганизации ЖЭКа Андрей Семенович. И что к завтрашнему числу бабушке поручается составить список членов ее участка с указанием полных анкетных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, год вступления в КПСС, льготы, участие в Великой отечественной войне, и так далее...

– Хорошо, хорошо, – озабоченно покашливала бабушка. Вернувшись домой я обнаружил ее с зеленой школьной тетрадкой, в которую она аккуратно переписывала имена и явки.

В другой раз я записал на магнитофон истошные крики: «Бабушка, помоги, спаси! Меня заперли в шкафу». Выбрав подходящий момент, я включил пленку, запер шкаф на ключ и спрятался под кроватью. Бедная старушка всплескивала руками, пыталась открыть шкаф и бегала по комнате, пока не услышала истерический хохот.

Бабушка вступила в партию в конце шестидесятых. Мне часто казалось, что для нее это было чем-то вроде ширмы, дымовой завесы, застилавшей действительность и дающей возможность выжить в придуманном мире отчетно-перевыборных собраний и членских взносов. Иногда наркотическая дремота отступала, и бабушка на день-другой становилась адекватной.

Мама объясняла это непоправимым ущербом, нанесенным клеткам головного мозга во время блокады Ленинграда.

Партийность бабушки носила несколько пикантный оттенок – происхождение у нее было самое что ни на есть белогвардейское, а в минуты редкого просветления она вспоминала вечера, проведенные в обществе Деникина и Врангеля.

Так продолжалось несколько лет. Я уже закончил институт и начал работать, племянница скоро должна была пойти в первый класс, а бабушка начала сдавать. Однажды она заблудилась в метро, уехала к черту на кулички и добралась домой поздним вечером в смятенном состоянии души. Мы переполошились, и с тех пор бабушку приходилось сопровождать – отговорить ее от поездок никому не удалось.

Помню один из ее визитов, когда мне пришлось везти старушку от сестры в душном июльском метро.

– Когда-то мы с тобой здесь гуляли. Надо же, как деревья выросли, ничего не видно. Надо мне Екатерину Гавриловну из второго подъезда проведать. Она ведь одна живет, сын на войне погиб.

– Ба, она ведь уже два года, как умерла, ты забыла?

– Как умерла? – Бабушка посмотрела на меня непонимающим взглядом. – А почему мне ничего не сказали?

Я отвел глаза. Спорить с бабушкой было бесполезно, она уже начинала путать времена и события – верный признак медленного угасания сознания. Впрочем, грех было жаловаться, в свои 82 года она еще свободно передвигалась.

Вечером – традиционный чай с вафельным тортиком, телевизор, альбом со старыми семейными фотографиями.

Часов в пять утра меня разбудили громкие всхлипывания. Казалось, плачет ребенок, и я в ужасе проснулся.

Плакала бабушка. Она лежала в кровати с мокрыми щеками.

– Ты что, ба? Что с тобой?

На улице светало, бледный свет пробивался сквозь занавески.

– Ничего. Все хорошо. Ты спи, я тебя разбудила? Замучила я вас всех, признавайся?

Меня поразила необычная четкость речи и свет, идущий из ее глаз. На секунду мне даже показалось, что глаза эти стали молодыми, как на старенькой фотографии девушки в длинном платье.

– Да нет, что ты.

– Я ведь все знаю, иногда кажется, что живу, как во сне. Просыпаюсь и вижу все четко-четко.

– А почему ты плачешь?

– Ты все равно не поверишь... Смеяться будешь...

– Не буду, клянусь. Что случилось?

– Ко мне прилетал ангел смерти и коснулся лица крылом.

– О, Господи, ба. Еще этого не хватало!

– Да, я чувствовала его прикосновение. Крыло у него было мягкое и теплое. Щекотно. И совсем не противно. Я в детстве всегда во время службы смотрела на ангелочков в церкви и жалела их – бедные, как же должно быть неудобно с крылышками.

– Это был просто сон, бабуль. Спи.

– Я видела маму, отца и брата. Они были молодыми, стояли около нашего дома и звали меня. А я, казалось, лечу. И потом мама сказала: как мы по тебе соскучились, а отец взял меня на руки, как в детстве и прижал к себе. От него пахло табаком и одеколоном, я за эти годы впервые вспомнила этот запах. И мне стало так хорошо, что я заплакала.

– Ба, тебе просто приснился хороший сон, – слезы неожиданно выступили у меня на глазах, я сел на кровать и погладил ее. – При чем здесь ангел смерти? Чуть какая-то.

– Мне точно так рассказывала бабушка, незадолго до ее смерти. Ее звали родители, а потом она почувствовала теплое крыло на лице, как будто ангел поднимает ее в небеса.

– Ерунда, это просто сон. И потом, ты же член КПСС, веришь в исторический материализм, и прочее, – мне вдруг стало неловко за свое ерничанье.

– Странно все это. Я сейчас, Сашенька, закрою глаза, вдруг я их еще увижу...

– Спи... – Почему-то мороз прошел у меня по спине. Мне показалось, что бабушка сейчас умрет, прямо здесь, рядом со мной.

– Нет... Ушли. – Бабушка открыла глаза. – Как жаль...А ведь я забыла мамино лицо. Если я скоро умру – не плачьте, может быть я увижу их.

Я вышел на кухонный балкон и закурил сигарету. Воздух пах той особенной свежестью, которая бывает на рассвете в лесу: росой, травами и влажной хвоей.

Вдалеке застучала колесами первая электричка. Я вернулся в комнату. Бабушка заснула и слегка похрапывала.

За завтраком все было по-прежнему. Бабушка, казалось, забыла о ночном видении, просила добавить молока в кофе, подавилась бутербродом и долго полоскала горло соком столешника.

Прожила она еще три дня.

-10.

Несмотря на поздний час, воздух на эстакаде аэропорта был влажным и горячим. Я чертыхнулся – тропики не подходили моему организму, мечтавшему лишь об арктическом воздухе, сером небе и вечных дождях.

Эстакада была пуста, если не считать нескольких такси, за рулем которых дремали колоритные тонтон-макуты в черных очках. Зачем им ночью нужны были черные очки – оставалось загадкой. Не знаю, почему я назвал их тонтон-макутами, впрочем, через пару дней выяснилось, что почти все водители такси в этом городе действительно были выходцами из Гаити. Такая у них была местная Гаитянская мафия.

Я ненавидел дальние поездки. Одинаково бездушные города, залы гостиниц, пахнущие синтетическими коврами и жидким кофе, повторение одного и того же, навязшего в зубах мотива. Даже в Новом Орлеане я умудрился не съездить в Французский квартал – был уже, и не один раз, на улице жара и черного цвета инопланетяне, надоело и ненавижу.

Кондиционер в такси не работал. Жизнерадостный водитель открыл окно, и я неожиданно почувствовал озноб. Что-то не так было в этом влажном воздухе, пахнущем болотными испарениями.

– Гребаные тропики, – процедил я сквозь зубы и предался мизантропическим размышлениям о тяжелой доле белого человека.

Город полностью соответствовал моим ожиданиям. Неприглядные хибарки, мобильные дома вдоль автострады постепенно сменились городским предлеском. Тут и там мелькали больницы, банки и страховые конторы. А вот и чаща – вымерший деловой центр с редкими группками подозрительных личностей у подножия небоскребов, а в центре этого центра – зеркальная башня-гостиница с подсвеченными разноцветными прожекторами фонтаном.

–И раз, и два, – я судорожно сунул водителю деньги, схватил сумку и вбежал в прохладу кондиционированного воздуха. Добравшись до своей комнаты, я первым делом сорвал промокшую от пота одежду и залез под холодный душ. Душа постепенно

возвращалась в уставшее тело.

За окном гостиничного номера светился огнями город – многоэтажная стоянка для автомашин, почти пустая в этот поздний час, частокол небоскребов с неоновыми вывесками, и уходящий в бесконечность ряд светофоров. В ушах еще слегка звенело после череды взлетов и посадок, совершенных за прошедший день.

Хотелось есть. Как и следовало ожидать, все рестораны и кафе, располагавшиеся в цокольном этаже гостиницы уже были закрыты. Заказывать обед в номер было лень, тем более что выбор в меню предлагался скромный – гамбургер и чизбургер. Чертыхнувшись, я лег спать.

Заснуть мешали отблески неоновой рекламы за окном, шум лифта, шуршание кондиционера. Я то погружался в забытие, то ворочался на кровати, с тоской понимая, что утром буду уставшим и вялым.

Меня преследовал навязчивый полусон-полубред, который иногда снился мне вот уже много лет. Я должен куда-то улетать, не могу найти билеты на самолет и паспорт, чувствую, что опаздываю, но почему-то разбираю бумаги на столе. Потом спохватываюсь и понимаю, что чемодан мой не собран, что времени до отлета рейса осталось двадцать минут, и даже гоночная машина не домчит меня в аэропорт, но все равно еду, кидаясь к стойке регистрации. Я вдруг оказывался то в Лондоне, то дома у родителей, и мама радовалась тому, что я неожиданно приехал. Но через десять минут мне снова надо было уезжать, я торопился, судорожно обнимал ее, объяснял, что опаздываю, умолял простить, но она обижалась. И все повторялось снова, – гонки, опоздания, пропущенные рейсы с неизвестной никому целью. Я сам не знал, зачем куда-то спешу. Лучше бы я сидел на кухне, зажатой между холодильниками «ЗИЛ». и «Минск». , подсушил сигареты над газовой горелкой, заварил кофе в старенькой турке...

Около четырех утра я проснулся от сильного озноба. Болело сердце, чего со мной никогда не бывало. Кровать была мокрой от пота.

– Черт бы все побрал, – сон не отпускал меня. – Да, хорош я буду завтра...

Мне предстоял доклад в 8 утра, потом черед совещаний и гнусная необходимость улыбаться и поддерживать деловые и дружеские связи со множеством нужных людей. Я сел на кровати и закурил сигарету, пытаюсь унять дрожь. – До чего все-таки бессмысленная жизнь. Погоня неизвестно за чем, с непонятной целью. Пришло в голову, что западный человек не задумывается об этом, восточный принимает жизнь как данность, и только мы, живущие посередине цивилизаций, и все в таком роде.

Докурив сигарету, я лег и закрыл глаза, без особой надежды на сон.

-11.

Я до сих пор не знаю, что это было. В забытии я видел себя, лежавшим под простыней и фиолетовый луч света, шарящий по стенам и нащупывающий мое тело. В ушах отвратительно зажужжало, как бывает, когда тебе сверлят зуб и вибрация вдруг проникает в мозг. Руки и ноги мои отнялись, и мне показалось, что сердце останавливается.

– Нет, – содрогнулся я, и вдруг увидел дом, освещенный тусклым светом, будто пробивавшимся сквозь дымку.

На веранде в плетеном кресле сидела молодая бабушка в длинном платье, точь в точь, как на старой фотографии из детства. Она удивленно посмотрела на меня, будто я свалился с неба, и от испуга привстала.

- Зачем ты пришел? Что-нибудь случилось? Что-то плохое, скажи мне!
- Я сам не знаю. Где я?
- Уходи. Возвращайся скорее, а то будет поздно!
- Как давно я тебя не видел...
- Уходи!

Я проснулся от сдавленного крика. Казалось, большая птица пролетела в комнате, и лица моего коснулось теплое крыло. Я явственно чувствовал щеколку от перьев, задевших верхнюю губу. Губа была сладкой, я облизнул ее и понял, что это кровь.

Меня трясло. Пытаясь вернуться в реальность, я подполз к окну и увидел, что на многоэтажной стоянке появляются первые машины. За окном светало, рекламы начали тускнеть.

- Сад камней. Пустая вселенная. Огромный туалет цивилизации. Пустые города. Эти люди боятся потерять работу, приходят в шесть утра и вкалывают, вкалывают, как муравьи на просеке. Зачем. Зачем?

Я понял, что громко кричу. В ушах снова начало жужжать. Покачиваясь, я добрался до ванной и окунул голову под кран.

- Хорошо, нечего сказать, - в зеркало на меня смотрела отекая, небритая харя с синяками под глазами.

Горячая ванна сняла озноб. В семь утра я уже сидел в галстукe и пил кофе, а в восемь ничем не отличался от своих коллег, разве что русским акцентом. И улыбался и раздавал визитные карточки, стараясь не думать о прошедшей ночи.

В подсознании я гадал: сколько мне осталось? День? Два? Потом тряс головой и объяснял все накопившейся усталостью, тяжким наследием прошлого и ночным кошмаром.

-12.

Через три дня я в очередной раз пересек американский континент. Полет проходил без особых приключений, разве что на подходе к аэропорту пилот объявил о незначительных технических неполадках, но заверил пассажиров, что никакой угрозы безопасной посадке нет. На всякий случай попросил не нарушать правила безопасности и не отстегивать ремни безопасности до полной остановки самолета.

Приземлились мы мягко. На бескрайней парковке аэропорта я потерял свою машину и минут двадцать бродил по рядам автомобилей, в оцепении пытаюсь найти свой серенький микроавтобус.

Дома произошло знаменательное событие: увидев меня, дочка сделала несколько своих первых в жизни шагов и отчетливо крикнула «папа». попросившись на ручки.

Я крепко обнял ее и подумал, что от меня пахнет табаком и лосьоном для бритья «Сьерра-Невада». Неожиданно, я увидел в лице дочурки черты молодой бабушки, подмигнувшей мне с плутовским выражением лица. Мне ничего не оставалось, как подмигнуть ей в ответ.

И вдруг почудилось, что чья-то теплая ладонь коснулась моего лба.

Прощание с Мухтаром

Загадочное это событие – превращение детских обрывочных вспышек памяти, с фотографической точностью выхватывающих слепки времени из бездны небытия в непрерывную ленту впечатлений. Так выцветшие черно-белые снимки прошлого века с родителями в старомодной одежде, с табуретками, расставленными вокруг вытасченного в сад стола, покрытого вытертой клеенкой превращаются в цветное кино, сопровождаемое запахами и очарованием летнего утра. Поют птицы, ласковый свет переливается на выцветшем ковре, изображающем странное животное с рогами на фоне гор – что-то недоступное моему пониманию, бирюзовое и ярко-охровое пробуждает меня. Отдаленные голоса, звяканье посуды на кухне, скрип входной двери и стук молотка, доносящийся с улицы.

Время неожиданно становится непрерывным. В кровати тепло и калейдоскопом проносятся ранние, выхваченные из бесконечности эпизоды. Тусклая лампочка в коридоре, из ванной идет пар, работает черно-белый телевизор «КВН», с глицериновой линзой около маленького экранчика. Потом – снег, и почему-то собаки на заборе. Овчарки, холеные и благородные. Толпа зевак, это Москва, улица Петровка, а почему собаки эти были знаменитыми: так и не помню, то ли они в кино играли, то ли поймали бандитов. Снег лежит на нашей «Победе», отец пытается счистить его перчаткой, но отчаивается и вместо этого бросает в меня снежки. Снежок попадает в губу, мне больно, но одновременно смешно. Потом – провал, какие-то игрушки, разыгрывающие Шекспировскую трагедию в детской кроватке, дача, и вот он я. Меня привезли на дачу. Я здесь живу уже несколько месяцев.

От этого странного, впервые нахлынувшего чувства становится страшно. Как будто бабочка вылупилась из кокона и пытается восстановить историю своего существования. Комната мне хорошо знакома, что-то пробивается из вчерашнего дня. Лоскуты ободранной краски около трубы Ковер с оленем. Запах побелки и дерева. Наша соседка тетя Клава поймала в мышеловку мышь и утопила ее в ведре. В июне умер дедушка, я его почти не помню, меня разбудили ночью и принесли к нему, он просил – я хочу видеть внука. Я хотел спать, но дед держал меня на руках. Вскоре после этого он исчез. Выпал снег, было холодно, мама топила печку. Коты орали ночами и украли колбасу из ведра, стоявшего во дворе – я еще проснулся от грохота и заплакал. Потом приехала бабушка, я от нее удрал и спрятался в будке нашей овчарки Альмы. Она меня любила, эта огромная и добрая собака, а я – ее: мял ее бока и шерсть, хватал за нос, а Альма только уворачивалась и облизывала меня шершавым языком. К вечеру меня все-таки нашли, бабушка пила сердечные капли, мама рыдала, а Альма недовольно тьякала. А потом шел дождь, была гроза, Альма выла, боялась молний, прыгнула на забор и задохнулась в своем ошейнике.

Тогда у нас дома появился Мухтар. Его принес отец, маленького и смешного. Немецкие овчарки оставили в щенке генетический след – узкая морда, толстые, разъезжающиеся лапы. А Мухтаром его называли потому что фильм такой был про милицейскую собаку. Я тайком совал ему в пасть карамельки, взамен получая собачью любовь и маленький язычок, облизывающий нос и щеки. Отец поймал меня за этим занятием и жутко рассердился: у щенка испортятся зубы. Мухтару купили ошейник и поселили во дворе, привязав к натянутой проволоке, дающей щенку видимость свободы передвижения от будки до забора.

Я приходил к нему каждую свободную минуту, играл и, несмотря на запрет, приносил сладости, которые иногда удавалось выцаганить у бабушки. Конфеты я экономил, стараясь порадовать Мухтара. Иногда, бывало, по слабости душевной откусывал

половину, но Мухтар и обкусанному остатку радовался.

В саду пахло медом и жужжали пчелы, с утра трава была мокрой от росы. Родители возвращались с работы в сумерках, когда чувствовалась вечерняя прохлада.

Так шли бесконечные летние дни. За прошедшие месяцы Мухтар заметно подрос. От его благородных предков остались лишь уши, а в остальном он превратился в типичную дворняжку–подростка, не чаявшую души в хозяевах.

– Мухтар, Мухтарчик, – я вскакиваю с кровати.

– Ты куда голышом во двор? – Возмущается бабушка.

– Я сейчас, скажу Мухтару доброе утро, – кричу я.

– Совсем он с этим псом распустился, – укоризненно качает головой бабушка. – Из сада не выманишь, завтракать не посадишь.

– Ну ребенок же, – пожимает плечами мама.

– Притащили собаку, Клава ругается. Вы уедете, а ей до следующего лета этого дармоеда кормить.

– Ничего, он ее не объест. В конце концов, собака в доме полезна, вон у всех соседей псы. А Клаве мы заплатим.

– Мухтарчик, хороший мой, – я сую в слюнявую пасть остаток печенья, завернутого в салфетку. – Животик тебе почесать? Ну давай, – пес ложится на спину, закатывает глаза и подергивает лапой от удовольствия. – Вкусное печенье?

– Завтракать! – кричит мама. – И быстро, нам надо собираться.

– Куда собираться? – удивляюсь я и тут вспоминаю, что уже несколько дней мама складывала коробки.

– Ты забыл? Мы сегодня уезжаем домой, лето закончилось.

– А Мухтар?

– Мухтар останется здесь до следующего лета.

– Нет, мама, нет! Я хочу взять его с собой. Ну пусть он живет у нас, ну пожалуйста!

– А что он будет делать? Он же в квартире с ума сойдет. Мы на работе до вечера, ты в детском садике. Он один заболеет и умрет.

– Нет, я не хочу, чтобы Мухтарчик заболел.

– Мухтару гораздо лучше будет здесь, на природе. А мы будем приезжать в гости.

– Но я хочу жить с Мухтаром! Я не могу без него.

– Значит так, – мама делает мне таинственные знаки. – А ты знаешь, что тебя в Москве ждет сюрприз?

– Сюрприз? – от сладкого чувства ожидания становится трудно дышать. – А какой?

– Вот если будешь хорошо себя вести – узнаешь. Тебе понравится.

– Ну какой, ну скажи, ну какой? Ну скажи, пожалуйста.

– Ну хорошо, я тебе намекну. Ты будешь охотником.

– Ружье, – кричу я в восторге. Ружье! Которое мы видели на витрине! – Это моя мечта – немецкая игрушка «Тир». Ружье с настоящим прикладом и пробкой на пружинке. И даже мишень с серым волком, когда из пробки в нее попадешь, мишень переворачивается.

– Угадал, ну что с тобой делать, – вздыхает мама.

– Поехали скорее домой. Ну пожалуйста.

– Машина придет к обеду, – вздыхает мама. – А пока – завтракать.

После завтрака я бегу к Мухтару.

– Мухтарчик, миленький, мы уезжаем. Я тебя люблю, – обнимаю я пса. Он, кажется,

что-то чувствует, поскуливает и отводит глаза.

– Мы приедем в гости, честное слово, – объясняю ему я. – Мама сказала. А на следующее лето мы опять будем здесь жить и с тобой играть. А мне подарят ружье, и мы пойдем с тобой на охоту. Ты же любишь охотиться? На волков, медведей.

Мухтар доверчиво смотрит на меня и виляет хвостом.

Когда пришла машина, Мухтар начал нервничать. Он пытался сорваться с поводка и скулил, царапая лапами по земле. Я начал плакать, даже ружье не могло примирить с потерей и в машину меня сажали силой.

За лето наша квартира забылась. Я с удивлением, смешанным со смутным узнаванием ходил из кухни в комнату и обратно, выходил на балкон и ощупывал пластмассового тукана с огромным желтым клювом, стоявшего в книжном шкафу. Вечером за окном начал накрапывать дождик. Отец вернулся с работы, достал из портфеля ружье в коробке, и дачный сезон временно забылся, сменившись на охотничий.

Через несколько недель ружье приелось. Как-то субботним утром я пристал к родителям с просьбой съездить на дачу и навестить Мухтара.

– Ты знаешь, а Мухтар ушел жить в лес, – сказал отец и отвел глаза.

– Как ушел? Он же был на поводке, – изумился я, чувствуя, что дело нечисто.

– Тетя Клава его отпустила погулять, он встретил знакомую собаку, подумал, и решил, что хочет жить в лесу, – опять соврал отец.

– А как же я? – слезы потекли из глаз. – А вдруг он вспомнит о нас и вернется.

– Ну хорошо, давай я завтра, или лучше в понедельник позвоню тете Клаве и спрошу, не возвращался ли Мухтар. – Нехорошее выражение было у отца в глазах, да и голос какой-то чересчур сладкий. – Хочешь, поедем сегодня в кино смотреть мультфильмы?

– Хочу, хочу. А мороженое купишь?

– Куплю, куда я денусь, – вздохнул отец.

В тот день в киотеатре «Россия» показывали самую что ни на есть первую серию «Ну, погоди!». Она и серией-то тогда не была, просто так, маленький фильм про волка и зайчика. А мороженое было вкусное, сладкое и холодное, как ему и полагается.

Вечером, уже лежа в кровати, я вспомнил Мухтара и загрустил. С кухни доносились приглушенные голоса родителей. Я на цыпочках прокрался к двери и прислушался.

– Ну и как ты думаешь, он поверил? – спрашивал отец.

– Поверил, скорее всего. А Клава сволочь, трешки в месяц ей на собаку мало было.

– Да в чем она виновата. Все дворовые собаки в округе бегают. Кто же знал, что в этот день будут ловить бродячих собак?

– Могла бы заявить, нам позвонить, в конце концов. Я иногда думаю, не сдала ли она его за деньги какому-нибудь живодеру, а нам наврала.

– Вряд ли. Сколько ей за дворнягу дадут? Ту же трешку от силы.

– А хоть рубль. Ей в тот момент на бутылку не хватало, вот и загнала пса.

Я не понимал, о чем говорят родители, но ощущение того, что случилось что-то страшное, такое, чего я даже представить себе не мог окутало меня, свело судорогой руки и сдавило грудь. В ушах зазвенело тоненько и противно, перед глазами закружились звездочки. Я кое-как дополз до постели и потерял сознание, стараясь вернуться в эпоху разорванных воспоминаний, разделенных черными провалами памяти.

Но возраст брал свое: забыть прошлое мне больше никогда не удавалось.

Недавно мне приснился старый дачный дом. Я поднялся по скрипящим ступенькам на террасу, с изумлением вспомнив старый диван, покрытый клеенкой, растрескавшиеся подоконники, на которые я любил залезать в детстве и треснувшее стекло, по которому я ударил игрушечной саблей. Обеденный стол, за которым в меня впахивали овсянку и

макароны по-флотски стоял все на том же месте, около входной двери. На стене висел выцветший от времени, но до сих пор неправдоподобно яркий охровый олень с рогами на фоне синего озера. Озеро и снежные горы на горизонте напомнили мне Йоссемиитский национальный парк. На стене все так же тикали ходики, и даже цинковое ведро около печки стояло на своем месте.

В доме пахло затхлостью, сад зарос, от кустов крыжовника ничего не осталось, а собачья конура куда-то исчезла. Около моей кровати лежал забытый в детстве остов машинки, собранной из немецкого конструктора – железная рама с винтиками и большие, пахнущие едкой резиной черные колеса.

– Вот вы где, – обрадовался я. – Я же вас целый год искал, все пытался из остатков конструктора что-нибудь собрать, да так и бросил.

Входная дверь скрипнула и через нее, радостно стуча грязными лапами по дощатому полу, и вихляя задом, в комнату ворвался Мухтар и бросился ко мне, облизывая руки и подпрыгивая.

– Хороший мой, Мухтарчик, – на глазах у меня выступили слезы. – Дождался все-таки, псина. И надо же, совсем не изменился, как был щенком, так и остался, дурашка!

Теплое собачье тело прижималось к моему, счастье поднималось в груди, но неумолимые ходики пробили семь раз, налетел осенний ветер, и видение рассыпалось.

Я проснулся. За окном шумели деревья – поднялся сильный ветер. В стекло стучал холодный осенний дождик.

– Это хорошо, – подумал я, с трудом возвращаясь в реальность. – Значит к новому году в горах будут грибы.

Семечкин

Судьбу первых моих школьных лет решила простая закорючка, сделанная чернильной ручкой на листе бумаги. Закорючке этой предшествовало слово «Отказать», а листочек был заявлением директору школы. Школу и директора я помню смутно, меня привели туда, в прохладную тишину еще пустых коридоров, в которых висели портреты Пушкина с длинными бакенбардами, еще одного в пенсне с исключительно ироничным взглядом и третьего, совершенно мужицкого вида со светлыми глазами.

– Не кушал ни рыбы, ни мяса, – тихонько пропела мама.

– Пушкин? – нерешительно спросил я.

– Тише. Ни во что не вмешивайся, веди себя вежливо. А лучше молчи. Запомни, директора зовут Максим Геннадьевич.

– Так слушаю вас, гражданка, – гражданин, выглянувший из кабинета директора, на мой взгляд, к своей должности совершенно не подходил. Череп у него был лысым, глаза жуликоватыми. У директора были исключительно мохнатые пальцы, покрытые неестественно длинными, черными волосами.

– Видите ли, Максим Геннадьевич. Мальчику будет семь лет в декабре. Я вас очень прошу. В сентябре ему еще будет шесть. А терять целый год обидно. Тем более, что он свободно читает, начал когда еще пяти не было. И вы знаете, сразу же взялся за взрослые книги. Прочел «Приключения Гулливера» от корки до корки. И арифметику знает неплохо.

– Читаешь, значит? – вяло спросил директор.

– Читаю, Максим Геннадьевич. Интересно.

– И считать умеешь?

– Умею. Даже таблицу умножения знаю.

– Что мне с вами делать... Вы знаете, гражданка, ведь дети должны в советской школе читать учиться. А вы что натворили?

– Я вас не понимаю.

– Вы, гражданка, подрываете образовательный процесс. Вот придет он в класс, сидят простые советские детишки, дети рабочих, начинают учить алфавит. Широка страна моя родная. А он умнее всех. Некрасивая ситуация получается. Что прикажете учительнице делать?

– Геннадий Максимович, я вас очень прошу. Ведь в следующем году...

– Вот в следующем году и приходите, – ухмыльнулся директор. – У меня инструкция из Министерства Образования, и нарушать я ее не собираюсь. Всюду, гражданочка, должен быть порядок.

– Жлоб. Чертов хам, – ругалась мама. – Придется все-таки отдавать тебя к бабушке. Там хоть и провинция, но люди нормальные. И школа хорошая, сестра твоя ее с золотой медалью закончила.

– Ура! К бабушке. Хочу к бабушке. А вы будете ко мне иногда приезжать?

Жизнь с бабушкой в детском сознании осталась вечной вольницей. Спать на сундуке, сверху постелен ковер, а внутри лежат сокровища – старые фотографии, пахнущие нафталином платья и серебряные ложки. За окном – деревья, во дворе пахнет травой, а чуть отойдешь – рынок и лес, за которым кусты орешника, овраг и пруды, в которых плавают карасики и бычки.

Директором моей будущей школы был человек, неуловимо напоминающий интеллигента в очках, увиденного в коридоре несбывшейся столичной школы.

– Ну, здравствуй, – он пожал мне руку, смутив до глубины души. – Сестру твою мы любили, умница. Золотая медалистка, поступила в МГУ. Не подкачаешь?

– Постараюсь, – смутился я.

– Читать умеешь?

– Умею.

– Что читал?

– Приключения Гулливера.

– А «Робинзона Крузо» читал?

– Нет еще.

– Прочти обязательно. Хочешь, я тебе дам, только с возвратом. – Директор открыл книжный шкаф и достал из него вытертую книжку в красном переплете.

– Спасибо. Я обязательно верну. Я быстро читаю.

– Ну и славно.

– Господи, святой он человек. Дай ему Бог здоровья, – выйдя из школы бабушка вдруг тайком перекрестилась.

Так я начал учиться в здании красного кирпича, неподалеку от городского дома культуры, горсовета, и странного заведения, имя которому было «физтех». Физтех тогда у меня прочно ассоциировался со странными дяденьками бледного цвета лица, которые брели от станции к институтским корпусам, бормоча что-то себе под нос и чертили в воздухе что-то видимое им одним.

После школы во дворе бегали, играли в красногвардейцев, лузгали семечки, курили, пили и чесали языки обитатели окрестных домов, от мала до велика. Первые навыки социального общения: недоступные девчонки с разбитыми коленками, парочка дворовых хулиганов из третьего класса (какими же большими они мне тогда казались), старухи, словно сошедшие с картин Нестерова про всяких странниц и отшельниц и представитель власти. Властью районного масштаба был председатель профкома товарищ Гвоздев с красным-прекрасным носом. Ходил товарищ Гвоздев в просторном костюме тех древних времен, то ли хлопковом, то ли парусиновым, и в шляпе. То ли из-за шляпы этой, то ли из-за костюма в памяти моей он остался маленькой копией Никиты Сергеевича Хрущева. Я даже не знаю точно, председателем какого профкома он был, но во дворе его уважали и побаивались. Стоило прорваться какой-нибудь трубе в подвале, или возникнуть воздушной пробке в батареях отопления, народ бежал к товарищу Гвоздеву, жившему во втором подъезде.

– Не волнуйтесь, товарищи, сейчас я наведу порядок, – отвечал гражданам слегка нетрезвый председатель. – Павел Иванович, – поднимал он телефон, который в те времена был редкостью. – Что творите? Истопник где. Где, я спрашиваю? Народ мерзнет, жалуется. Будет? Так вот, я завтра лично проверю, в восемь утра. Всего доброго.

– Товарищи, – уверенно заявлял Гвоздев. – Идите спать спокойно, исполком разберется. А завтра я с них лично требую отчет по всей строгости нашего времени.

– Спаситель вы наш, – всхлипывала старушка с синяками под глазами. Ей– Богу, не знаем, что бы мы без вас и делали.

– Идите, товарищи, по домам, спать, а завтра к новым трудовым, как говорится, свершениям.

Но и у Гвоздева не все было в порядке. Однажды я застал его на берегу пруда с удочками. Рядом с товарищем Гвоздевым был его двойник-близнец, в таком же парусиновом костюме и шляпе. И председатель профкома, и двойник были слегка навеселе.

– А что, Ваня, не клюет рыба, – задумчиво обобщил незнакомец-двойник.

– Эх, Коля. Да не в рыбе дело. Я вот думаю иногда – ведь мы с тобой могли бы до министров дослужиться. И вдруг начали сволочи эту кампанию: это не то, то не это, понимаешь, жизнь ведь положил, а чем закончил?

– А чего тебе, Ваня, человек ты уважаемый, в должности. Любую путевку достать можешь. Я тебе советую – езжай, развлекись. В Крым, к примеру. Или на пароходе до Нижнего. А то и до Астрахани.

– Да не понимаешь ты. Ведь подставили меня, отодвинули, все заслуги забыли. Кто я теперь? Пенсионер Союзного значения. Хожу вот, карасей в пруду ловлю. Так и помру здесь тихонько, и никто не вспомнит. А ведь у меня министерство в руках почти уже было. И какое министерство...

– Уж и помирать собрался. Ты, Ваня, погоди. Может быть ветер еще переменится. Может они про нас, старых кадров еще и вспомнят.

– Валяй, валяй. Тешь себя надеждой. Лучше дочке квартиру выбей, пока можешь. Потом поздно будет.

– Ваня, твою так. Ведь клюет у тебя. Слышишь? Клюет!

– Ах ты, шельма. Ничего, от меня не уйдешь.

Сколько помню себя, ни разу из этого пруда не вытаскивали такого размера карася с золотой чешуей. Был он с приличную сковородку, сверкал на солнце и по-карасьи хлопал губами.

– Вот так поджарим его сегодня в сметанке, Коля. Вот повезло, – Иван Гвоздев забыл о своей карьере, обидах и шляпе. – А ведь прав ты, живем-то один раз. Надо бы за водочкой сгонять, такой улов отметить...

Запомнил я все это потому, что спустя месяц Ивана Андреевича Гвоздева хоронили под надрывные звуки оркестра. У председателя профкома неожиданно остановилось сердце прямо на заседании, и умер он с недокуренным «Беломором» в зубах.

Из нашего класса во дворе жило человек пять, и бегали мы стайкой. В те годы у мальчишек было легкое помешательство – самодельные ружья, стрелявшие «пульками» – кусочками алюминиевой проволоки. Делалось такое «ружье» очень просто – брался деревянный приклад со стволом, просверливалась дырка, в которую вставлялась гнутая проволока. Натягивалась резина... Резина была в большом дефиците, но наша соседка по коммуналке, тетя Надя работала на фабрике игрушек и как-то принесла мне целый моток этой дефицитной резиновой струны. Надо ли говорить, насколько возрос мой авторитет. Теперь со мной дружили все, от мала до велика, стараясь получить кусочек дефицитной резинки.

Самым близким моим другом в этой дворовой команде стал Юрка Семечкин. Дружба наша началась довольно драматично – в середине первого класса мы подрались на школьной площадке, толком не помню уже из-за чего. Вначале мы лупили друг друга портфелями по головам, потом пытались зарыть противника в снег, но здесь нас поймал директор, проходивший мимо. Он вызвал в школу родителей.

Разбираться пришел Юркин отец – мрачный, небритый грузчик из продуктового магазина. И бабушка. Старушка была возмущена, говорила, что я позорю сестру – золотую медалистку. Сестра до сих пор висела в школьном вестибюле в самом центре красной звезды, которая должна была вести всех нас в светлое комсомольское будущее.

Юркин отец мрачно заявлял директору, что этого так не оставит, мне накостыляет по шее, а некоторые (он смотрел на нас с бабушкой) вообще буржуи недобитые, и к тому же живут в шестиметровой комнате непонятно на каких основаниях.

– Вы уж извините, – говорил директор бабушке. – Что поделывать, необразованный человек, алкоголик. Таких у нас немало, к сожалению.

– Да что вы, я все понимаю. Огорчает меня то, что внук дерется.
– Мальчишки должны драться, – сжал зубы директор. Не сердитесь на него, вот увидите, агрессивность пройдет.

С Юркой мы не разговаривали и смотрели друг на друга волком. Но тут в Доме Культуры случилась Новогодняя елка, взрывались хлопушки, школьникам раздавали корзинки с конфетами. Потом Юрка увязался за мной и мы пошли в тир Выстрел из духового ружья стоил две копейки. В кармане у меня лежала двадцатикопеечная монета.

– Давай так, – пять выстрелов тебе, пять – мне. И не будем больше драться.
– Спасибо...Руки у Юрки дрожали, десять копеек для него были настоящим богатством. Да и ходил он в штанах, доставшихся то ли от старшего брата, то ли от соседа, с заплатками на коленках, и ужасно этого стеснялся.

Мы подружились. Какие снежные крепости мы возводили во дворе, с лабиринтами и переходами, прорытыми в снегу, с башенками, за которыми удавалось спрятаться от снежков противника. Какие бои мы устраивали с пиратами из двенадцатого дома. А какие кораблики мы пускали весной в ручьях.

Потом распустились почки на деревьях и мы вдруг закончили первый класс. Только пели хором «Во поле березка», а теперь заладили «Широка Страна моя родная». В Доме Культуры крутили «Чингачгук большой Змей», я его обожал. А еще больше я обожал «Неуловимых Мстителей», которые только что появились в прокате.

Тем временем воробей на улице клевал извивающуюся гусеницу, пахло пылью, в актовом зале случилось торжественное собрание, и всем выдали красную ленточку с булавкой, на которой было написано «Второй «А». Бабушка по этому поводу купила нам с Юркой мороженое в вафельном стаканчике с розочкой за 19 копеек, и наступило лето.

Тут случился перерыв из совсем другой жизни – я вернулся в Москву к родителям, и мы поехали на пахнущем углем и тормозной жидкостью поезде черт его знает куда, короче на юг.

В Новом Афоне были галька на пляже, абреки с галунами, копченая рыба, кусты лаврового листа на станции, столовые, пахнущие люля-кебабом, шелковица, закаты, море и таинственная бутылка под названием «Букет Абхазии». Бутылку тщательно завернули в тряпки и положили в чемодан, дабы выпить в Москве. В конце августа мы сели на самолет и вернулись домой. Я предвкушал давно обещанный подарок – двухколесный велосипед «Школьник».

Отец тогда работал на Пушкинской площади, около кинотеатра «Россия». Первые попытки сохранить равновесие произошли там же, около памятника Пушкину. Собственно, все мое детство прошло на этих бульварах, и балансируя на странном средстве передвижения я вспоминал какую-то церквушку, детский сад, расположенный поблизости, старичков- шахматистов, сидевших на скамейках, кирпичные стены, которые возвышались за окном спальни и врезались в память, поликлинику, пахнущую карболкой и бесконечные, пахнущие пылью и хлебом улицы, поднимающиеся и опускающиеся на холмах.

Велосипед был привезен к бабушке в электричке с Савеловского вокзала. Отец поддерживал меня всю дорогу от станции до дома. Потом бегал по двору и ругался, потому что я упорно не понимал, что педали на велосипеде не прокручиваются и расставлять ноги в стороны совсем не обязательно.

Вечером во дворе догорал последний вечер августа. Кусты около дома были пыльными, бабуся постанывали на лавочках, потирая больные поясницы, а школьные друзья рассказывали о каникулах.

– А я на Черном море был, – похвастался я. – Жара жуткая, а потом шторм, волны огромные, размером до второго этажа.

– Ну ладно, будет врать. Таких волн не бывает, – сплюнул Коля Васильев.

– Ага, не бывает. Очень даже бывает. Мы думали, что наш дом в море смоем. Сели ужинать, а в окно волна и все смыла...

– А я у бабки в деревне был, – вступил в рассказы Вовка Сорокин. – Такая дура. Кричит, ругается, ничего не соображает. Дед от нее на охоту удирал и меня с собой брал. Я из настоящего ружья стрелял.

– И что, убил кого-нибудь?

– А как же. Двух медведей, – хвастается Вовка.

– Ха... – смеемся мы. – Двух медведей, мы так и поверили.

– Юрка, а ты?

– А я здесь все лето был, – Семечкин грустен. – Все разъехались, тихо стало, пусто. Вот, рисовать научился. – Он выдирает из тетрадки страничку, на ней явственно виден Сорокин и два удирающих мохнатых медведя. Они живые. И Вовка, и медведи, они бегут прямо на этой страничке.

– Здорово, – зевает Коля. А я открываю рот и не могу оправиться от удивления.

– Юрка, а что еще ты умеешь? Любовь Васильевну можешь нарисовать?

– Могу, – Юрка делает несколько движений карандашом и на чистой страничке стоит толстая тетя Любовь Васильевна, наша классная руководительница, рассказывающая школьникам о том, как широка страна наша родная.

– Ну надо же, как ты это делаешь. Я уже сам ее забыл, а ты...

– Не знаю. Я просто вспоминаю, и оно само по себе получается.

– Юрка, поганец. Быстро домой, а то убью...

– Мне пора, – бледнеет Юрка. – Батя опять нажрался.

– Расселись тут – Юркин отец с трудом стоит на ногах.

– Хоть бы детей постыдил, – крестится старушка в платке.

– А, е... – отец сползает на скамейку. – Что вы все... – Начинает он, но теряет нить.

– Бать, пошли. Пошли, ну прошу тебя. Вставай.

– Сучонок. Ты слышишь, что я тебе говорю? Слышишь?

– Пошли, батя. Прошу тебя.

Выходные закончились. И я как-то сам сел на велосипед и поехал. Мимо кирпичных домов, мимо дома моей одноклассницы Гали Бабушкиной, в которую был слегка влюблен. Мимо дворца пионеров, дома Культуры, школы, горсовета, физтеха, книжного магазина, станции, рынка, кафе «Чародейка».

– Держи его! Уйдет!

Передо мной стояли сельские хулиганы из нашей школы, перешедшие уже в четвертый класс.

– Эй, ребята, вы чего.

– Городской, сволочь. А ну, иди сюда.

– Ребята, – я судорожно вспоминал содержание прочитанных книжек и беседы с мамой, наставлявшей меня о правилах хорошего тона. – За что?

– Сука. Отдавай велик.

Меня били ногами. Не то, чтобы очень сильно и по голове, больше по ребрам и как-то нерешительно, чтобы не покалечить, а напугать.

Нос мне, впрочем, разбили основательно. Домой я добрался с разорванными штанами, рыдающий и окровавленный.

– Господи, – газовая сварщица тетя Аня открыла мне дверь. – Надь, Надя, посмотри, что со внучком Татьяниным сделали. Кто тебя так?

– Хулиганы какие-то. И велосипед отобрали, который папа подарил.

– А какие хулиганы? Ты кого-нибудь знаешь?

– Нет, незнакомые. – соврал я.

– Господи, бандиты окаянные. Иди, умойся. Бабушка скоро придет.

В выходные приехал отец, и я рассказал ему о происшедшем.

– Не расстраивайся. Велосипед в крайнем случае купим новый. А Юру этого вашего жаль. Увидишь его, предложи сходить вместе на рыбалку.

Я выбежал во двор. Семечкин бродил между начинающими желтеть кустами, изредка ковыряя что-то ботинком.

– Юрка. – напрягся я. – Хочешь пойти со мной и отцом на рыбалку?

– Что? Правда?

– Правда. У нас лишняя удочка есть.

– Хочу.

– Привет, Юра, – сказал отец. – Ну пошли. Поможешь сумку нести?

– Да, конечно.

– Спасибо. Где у вас лучше всего червей копать?

– Смотря каких, – оживился Семечкин. – Если красных, то за станцией лежат гнилые бревна, их там полно. А если дождевых, то по дороге будет поле...

– А на каких рыба лучше берет?

– На красных.

– Тогда веди к вашим бревнам.

Мы нарыли целую консервную банку отборных червей и пришли к пруду. Вода по осени уже становилась темной, воздух был прозрачным, листва золотой. От земли поднимался аромат, за который я сейчас, почти четыре десятилетия спустя, отдал бы все, что у меня есть – запах перегноя, грибных шляпок, хвои, березовой коры.

Клев начался сразу же. Это было волшебством, я ходил на этот берег почти каждый день, и Юрка тоже, и батя его, и все одноклассники. Один – два бычка – вся наша добыча. В этот день клевали золотые рыбки – карасики. Мы не успевали забрасывать удочки в воду.

– Вы что, волшебник? – испуганно спросил Юрка.

– Нет, – зевнул отец. – На самом деле это ты показал, где червей брать. А давайте, ребята, пообедаем. У меня бутерброды, с колбасой, с сыром, хотите?

– Хотим.

– И лимонад тоже имеет место быть.

Лимонад щипал в горле, бутерброды были потрясающе вкусными, а карасей мы наловили столько, сколько я ни разу не ловил в жизни.

Над прудами собрались тучи, потемнело и начал накрапывать дождик.

– Ребята, айда домой.

Как же вкусно пахнет, когда первые капли дождя прибывают к земле осеннюю пыль. Мы бежали мимо башенки над заброшенной усадьбой, мимо сельского магазинчика, расположенного в бараках неприглядного вида. Около станции продавали соленые огурцы, но мы добежали до подъезда, скрипнула дверь, запахло плесенью и кошачьей мочой, но в этом сумраке было уютно. Тем более, что на улице разыгрался ливень.

- Юра, а говорят, ты умеешь рисовать? – спросил отец.
- Умею немножко.
- Ну нарисуй меня, например. Вот у меня ручка есть, и тетрадка.
- Ну, вы. Вот такой.

Это был отец. Юрка по наитию схватил выражение его лица, будто размышляющее над чем-то, едва уловимый взгляд...

– Юра – Отец нахмурился. – Послушай меня. Ты будешь известным. Я тебе обещаю. Только держись. Помни о том, что у тебя дар. Ты должен учиться. Слышишь?

- Спасибо
- Юра! Ты где шляешься?
- Ой, маманя сердится. Я здесь!.
- Ну-ка домой, быстро!

– Юра, если что, дай знать. Ты должен учиться, у тебя талант, огромный. Это от Бога, как завещал Ленин, не знаю. Прошу тебя, держись. Если что я тебе помогу, беги к Сашке, вы же дружите.

– Спасибо. Мне пора, правда.

– Пойдем, – вздыхает отец. – Гениальный парень. Хорошие друзья у тебя. Молодец. А за велосипед не переживай.

Через пару дней Юрка постучал в мою дверь.

– Ты не обижайся, что я во дворе не гуляю. – прошептал он. – Батя не велит, ругается. Ты же знаешь, что с него взять.

– Угу, – сглотнул я. – Я и не обижаюсь ни чуточки.

И тут дожди закончились и наступило бабье лето. Второй «А» класс в полном составе повезли на экскурсию в подмосковный город Клин, в краеведческий музей, в котором стояли фарфоровые супницы и хрустальные графины, а графини и князя иронически прищуривались со старых портретов.

А на станции резали свинью. Прямо около поезда, из которого с ужасом выглядывали ученики начальной школы. Свинья была мохнатой и дергала волосатыми лапами, похрюкивая в недоумении. Волосатость этих копыт напомнила мне директора Московской школы, написавшего на заявлении «Отказать».

Ноги у хавроньи были связаны, потом мужик в телогрейке воткнул в нее нож, и раздался дикий, почти что человеческий крик боли, который вот уже три с лишним десятилетия стоит у меня в ушах...

Тем вечером в нашу дверь постучали. На лестничной клетке стоял Юркин отец. Он как всегда был пьян.

- Ну, сволочи, что с сыном сделали? Художник, говорите? Убью!
- Слушайте, успокойтесь, мы милицию вызовем. – Возмутилась бабушка. – Что вы себе позволяете?
- А вы что позволяете, гады. Мальца увели, колбасой подкормили. Будто родной отец

его не кормит. Не волнуйтесь, на вас управа найдется. Я может быть в горсовет пойду.

– Подите лучше проспитесь. Никто у вас ребенка не уводил, а какой пример вы ему подаете – еще надо разобраться.

– Разобраться. Я те разберусь... Ежели еще про его мазюльки будете сопли разводить, я вас всех...

Но тут на лестничную клетку вышел наш сосед Виктор Васильевич и врезал Юркиному отцу по физиономии весьма основательно, отчего тот присел на кафельный пол, всхлипнул и уполз по лестнице вниз.

В те времена о политической корректности никто понятия не имел, и даже классовая борьба представлялась ограниченным мордобоем между силами добра и зла.

К годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции наш класс повезли на Красную площадь. Царь–пушка, Царь–колокол, то ли история, то ли осенний сумрак, то ли политые кровью стены, но мне было не по себе.

На обратном пути электричка пахла потом, перегаром и Беломором. Кто–то играл на гитаре, мужики, которые теперь показались бы мне мальчишками пили и веселились.

На нашей платформе образовалась заминка – около перехода толпилась милиция, рыдали бабы.

– Не смотрите. Не смотрите! Уведите детей.

Что–то красное, кровавое с омерзительным оттенком желчи лежало на рельсах.

– Пьяный был. Полез прямо под поезд, – причитал кто–то. Пытались его удержать, но куда там.

– Бааатяя, – у Юрки глаза вылезли из орбит и он бросился к этому перемолотому под поездом телу. – Папка, ну что ты, ну не смей, ну папка.

– Ой, батюшки, – сочувственно заголосили бабы. – Сынок нашелся. Батюшки...

Не помню, как я дошел в тот день домой. Вяло сказал бабушке, что Юркиного отца переехала электричка.

Юркина мать вскоре спилась. Она сидела около подсобки для грузчиков с утра до ночи, спала на улице, материлась и Юркой совсем не занималась. Кормили Юрку соседи, частенько он ночевал у нас на полу, а иногда мы с ним менялись – сегодня ты спишь на сундуке, завтра –я.

Не помню точно, когда это случилось, но Юра Семечкин разучился рисовать. Дар Божий ушел из него, или притаился, не знаю. Танки, автомобили, поезда и школьные учителя в его тетрадке стали гротескными, как и должны были быть, с непропорциональными руками и толстыми талиями.

Потом Юркину мать посадили за кражу – очень хотелось супа, а кафе было закрыто. Юрку отправили в интернат куда–то в Забайкалье. Больше я никогда его не видел.

Остался лишь тот прозрачный осенний день, когда каждый из нас поймал с десятков золотистых карасиков, а Бог разговаривал с нами. И день этот до сих пор стоит перед глазами.

Пару лет тому назад я посетил места моего детства, и этот берег, с которого мы закидывали удочки, и рынок около станции, и двор, в котором мы жили. Все изменилось, только арка под домом до сих пор звенит эхом. Благодаря этой арке я и узнал дом своего детства. Когда–то мы в ней топали своими детскими сандаликами и кричали, прислушиваясь к эху.

На обратном пути в Москву Димка гнал свои «Жигули», и недоезжая до Химок я увидел огромный портрет Ленина. Ильич возывшался над каким–то сельским ангаром, половина транспаранта покрылась черной плесенью, но облик Ульянова с классическим

партийным прищуром пережил десятилетия разброда. Транспарант смотрелся нелепо среди торжества мелкого лавочного капитализма. Потом я вздрогнул и вспомнил, что видел этот портрет в детстве, когда ездил с бабушкой на автобусе из Долгопрудного в Москву. Все изменилось, и ничего не изменилось, потому что время было и есть и всегда течет в вечности, или в воронке, и совершает вечный цикл от начала и до заката.

Дерево детства

1.

За год до столетнего юбилея Ленина партия с правительством решили, что пора решать проблемы коммунального быта строителей коммунизма.

На окраинах городка, за магазином «Культтовары» и «Овощи-Фрукты» построили квартал пятиэтажек. Руководил застройкой наш сосед по коммуналке Иван Алексеевич (дядя Ваня), который по совместительству работал главным инженером строительного управления. Рядом с хрущобами были возведены две типовые школы из блочных конструкций, детский сад и двухэтажный магазин «Юбилейный». Магазином этим грядущее столетие Ильича оставило свой отпечаток на прошлом.

На первом этаже «Юбилейного» продавались клюква в сахаре, желтые, пахнущие вечностью макароны, подсолнечное масло с мутным осадком, рыбные консервы и докторская колбаса. На втором предлагался одеколон, школьная форма, ботинки, туфли на каблучках, подушки, строгие мужские костюмы и платья.

Бывшую коммуналку расселили по двум соседним пятиэтажкам. Забыты были кухонные склоки: по выходным бывшие соседи собирались вместе. Мужики пили, дети носились около подъездов, а усталые женщины обсуждали ассортимент местного универмага.

Гулять в новом микрорайоне было негде, разве что прыгать по бетонным блокам очередного дома, который строился на пустыре. Из детских развлечений эпохи массового строительства мне запомнились эксперименты с карбидом. Карбид считался ценностью, его разыскивали на стройках, порой с риском для жизни залезая на скелеты будущих многоэтажек. Найденное вещество обменивали на фантики от конфет и сигареты. При погружении в воду карбид шипел и взрывался. Другим развлечением была выплавка свинцовых бит и грузил из оплетки электрического кабеля.

Бабье лето в том году затянулось. Дождей не было, деревья стояли в золоте, вечера были прозрачными и воздух пах ароматным дымком.

Каждый день после уроков мы убегали на любимую поляну за железнодорожной станцией. Поляна была светлой, солнечной, с высоченными старыми березами и молоденькими елочками. Метров через триста от станции поляна упиралась в забор с колючей проволокой, за которой прятались госдачи всякой шушеры, мелких бесов времен позднего Сталина и раннего Хрущева. За дачами тянулись бескрайние поля, дубовые леса, заросли орешника, сосновые перелески, пруды и озера.

У нас было свое любимое, заветное дерево: невесть каким образом выросшая посреди березовой рощи кряжистая сосна. Под ней всегда пробивались из-под иголок подберезовики и даже белые: каждый год мы собирали около корней с десятков крепких грибов. Бугристый ствол с выступами от веток, обломанных предыдущими поколениями школьников манил ловких и смелых. Чуть повыше ветки были толстыми и надежными, мы привязали к ним толстую витую веревку, соорудив что-то среднее между качелями и виселицей. Под ветками нашей сосны мы грызли семечки, качались, флиртовали, играли в войну и шпионов.

– Признавайтесь, куда это вы все смотрите? – строго спрашивала неприступная Люба Пухова, моя очередная школьная любовь. – Как вам не стыдно?

Стыдно нам не было. Мужская часть компании замороженно смотрела на детские ноги с расцарапанными коленками и задирающийся школьный фартук.

– Любка, завязывай. Ты уже давно качаешься, имей совесть. – Галя Бузакина сердилась. Возможно потому, что ей хотелось, чтобы мы смотрели и на ее коленки.

– Бузакина, чья бы корова мычала... Кто вчера целый час качался? Ну да ладно, садись. Паша, пойдем, прогуляемся?

Это была женская месть. Люба Пухова знала, что Бузакина равнодушна к Паше Чумакову.

– Я тоже хочу прогуляться. – попытался примазаться я к намечающемуся любовному многограннику.

– Вот еще. Нам с Пашей очень надо поговорить наедине.

– Ну и ладно, не очень-то хотелось, – поморщился я и сделал вид, что меня все это не касается.

Хотя все это меня касалось. Этот Пашка и красивым-то не был: толстенький живчик к румяными щеками, знающий все на свете. Педагоги его обожали, называли «наш энциклопедист». С Чумаковым сравниться не мог никто. Память его цепко хранила все: от даты Куликовской битвы до мощности моторов, стоявших на вооружении танков Гитлера во время войны.

– Все девчонки дуры, – крутилось у меня в голове. Все до одной. А вдруг они там теперь целуются? Вот, скажем, Чумаков обнимает Любу и...

Как мужчины с женщинами целуются я видел только в кино. Но одна мысль об этом приводила меня в странное состояние оцепенения.

Я добрел почти что до края поляны, лениво ковыряя ботинком вылезшие после дождя мухоморы.

– Обиделся? – Меня догнала Галя Бузакина.

– Подумаешь, – пожал я плечами. А чего ты с качелей ушла?

– А, ерунда. – Галя поморщилась. – Думаешь я не вижу, как ты по Пуховой сохнешь? Хочешь я тебе одну тайну расскажу? Про Любку. Тебе будет очень интересно.

– Хочу, – в груди что-то сладко заныло. – Сейчас она расскажет, что видела, как они с Пашкой целовались, – подумал я и приготовился к самому худшему..

– Хорошо. Только никому не протрепись. Поклянись!

– Могила.

– Ну смотри. Обманешь... Короче, слушай... – Галя перешла на шепот. – Так вот. Я вчера классный журнал в учительскую относил и случайно услышала, как Клавдия Васильевна с директором разговаривала. Чумаков заболел и скоро ложится в больницу. Надолго... Клавдия говорила, что может быть он всю четверть пропустит.

– Ну ничего, Пашка не отстанет. Он все на свете знает.

– Какой же ты глупый... Пока Чумаков будет в больнице, ты сможешь с Пуховой гулять. А я Пашу в больнице навещать буду... Согласен?

– Смотри, как ты все ловко придумала. Согласен, конечно.

– Только молчок! – Галя приложила палец к губам. – Никому!

Домой мы возвращались уже в сумерках.. Сашка Астахов ухмылялся и с заговорщическим видом доставал из кармана пачку папирос «Дымок», украденных у отца. Курить я отказался, не до того было. В соседнем подъезде живет эта красавица с пухлыми губами и серыми глазами, она наверняка сейчас тоже сидит за столом и ужинает... Я мечтал о том, как мы пойдем гулять, а еще лучше – сходим в кино. Если и есть на Земле совершенство, так это она.

– Даже свои любимые пельмени не съел. – Ворчала бабушка. Что мне с тобой делать...

2.

Через несколько дней Паша лег в больницу на обследование. Еще через неделю я стал первым учеником в классе, и Люба приняла мои ухаживания. Теперь я был ее фаворитом, заняв место Чумакова. В субботу я набрался храбрости и пригласил Любу в кино на какой-то фильм про индейцев.

– Я вообще-то хотела Пашку проведать, – смутилась Люба.

– Успеешь еще. Знаешь, какой фильм интересный. Там, говорят, индеец всех победил, а собака схватила бандита за штаны и укусила. Весь зал смеялся.

– Правда? Давай сходим. Спасибо...

Я летел домой на крыльях сам не знаю чего. Жизнь казалась полной смысла, улицы – просторными, а вселенная и вовсе бесконечной.

Закончилось все внезапно. Бабушка слушала по радиоточке свою любимую передачу «Встреча с песней», которая начиналась мелодией «За околицей бродит гармонь». Светил прожектор со стороны «Водников». Пахло дымом. Я стоял на балконе, смотрел на змейки освещенных желтыми клеточками окон электричек, и жевал виноград. Виноград был странный: длинный и приторный с горчинкой.

В электричках куда-то ехали взрослые. Некоторые из них направлялись из Москвы, другие в Москву. Мне пришло тогда в голову, что надо просто поменять их местами и никому не нужно будет бежать на станцию, садиться в поезд и дремать в вечерних вагонах, освещенных тусклыми лампочками.

Неожиданно огоньки начали расплываться. Дышать становилось все труднее, перед глазами заплясала неоновая вывеска «Юбилейный».

– Бабушка, худо мне.

– Господи. Что с тобой?

Я проснулся ночью от странного чувства. Казалось, мое тело распирает что-то изнутри, будто во мне находится надутый воздушный шарик. Голоса звучали в голове, но раздавались откуда-то издалека.

– Что с внучком –то?

– Воды, воды ему дайте.

– Водки ему, а не воды.

– Молчи, пьяница.

– Немедленно в больницу.

Что было потом я не помнил, и вдруг услышал женский голос.

– Руку давай.

– Что? – испугался я.

– Сожми кулачок. Слава богу, проснулся наконец. Укол делать будем, вот что. – подмигнула мне молоденькая, внушительных размеров сестричка.

– Ой, а где это я?

– В больнице. Будешь у нас лечиться.

– Вот черт, – подумал я. – А как же Люба?

В голове звенело. Я лежал в палате. Вместе со мной палату делили несколько мальчишек. Кто-то спал, кто-то кряхтел, остальные синхронно ковыряли пальцем в носу.

– Вынули пальцы из ноздрей. Завтрак! И чтобы не сорили мне тут! – дородная тетка

вкатила в палату тележку с подносами. – Кто будет хлебом швыряться на обед шиш с маслом получит!

На тарелках лежал серый хлеб, кусок сыра и ломтик сливочного масла...

– Сыр, – обрадовался я. – Сыр, сыр...

– А ну-ка, шкет столичный, убери руки! – искаженное лицо с заячьей губой появилось около тарелки. Судя по пробивавшимся над губой усикам, обладатель заячьей губы был класса из пятого, или даже из шестого.

– Почему? – испугался я. – Я есть хочу.

– А потому что мне твоя морда не нравится. Не видел я тебя никогда. И запомни: никаких лишних вопросов. Дошло?

– Дошло. То есть понял. То есть зарубил на носу.

– А может тебе «темную» для профилактики устроить, пацан? Чтобы знал, как старших уважать?

– Ишь ты, какой храбрый, – я решил блефовать. – Ты давай, устраивай. Я ребят со двора позову, они тебе покажут. Они в восьмом «А» учатся, а я им... – я запнулся, придумывая что-нибудь такое, – настоящий бензиновый двигатель от мопеда помог запустить.

– Вот это да – Заячья губа слегка утратил боевой пыл. – А ты чего, тоже местный? В какой школе учишься?

– В пятой.

– Ну ладно, бить мы тебя пока не будем. Читать умеешь?

– Умею.

– А я до сих пор не научился, – загоготал парень. – Почитай нам вслух. Отличная книжка про шпионов.

– Ну и пожалуйста, – обрадовался я. – Я про шпионов и сам книжки люблю.

Будущие бандиты уселись около кровати, замороженно слушая рассказ про храброго чекиста и вражеского разведчика.

– Вот ведь, Бляха, – вздохнул заячья губа. Был бы у меня пистолет, я бы я бы такое сделал... А ты где так здорово читать научился? Здесь у нас лежал один вроде тебя, только его перевели в другую палату.

– А как его звали? – спросил я, чувствуя, что заранее знаю ответ.

– Не помню, Пашкой, кажется. – зевнул парень.

3.

После завтрака я подошел к санитарке, сидевшей в больничном коридоре.

– Тетенька, а вы случайно не знаете, где здесь Павел Чумаков лежит, мы с ним в одном классе учимся.

– Дружите что ли? Дело хорошее. Вон в той палате, около лестницы. Только если он спит – не буди, а то он совсем слабенький, бедняжка.

Я приоткрыл дверь оказался в комнате, пахнувшей хлоркой и эфиром, тоскливым больничным ароматом. На койке около окна лежал Пашка, я поначалу его не узнал, детское лицо его осунулось, розовые щеки побледнели.

– Ой, привет, – он вздохнул и повернулся на подушке. – Ты чего, тоже заболел?

– Привет, Пашка. Я вроде отравился чем-то. А ты как себя чувствуешь?

– Да ничего, слабость только. А что в школе делается?

– Все нормально. Вот будет праздник строя и песни. По математике – дроби проходим.
– А к нашему дереву ходите?
– А как же. Почти каждый день.
– Везет вам. А я, боюсь, уже не попаду. Пока выпишут, глядишь дожди пойдут и холодно станет.
– А ты выздоравливай поскорее. Уже все учителя говорят – вот был бы Чумаков, он бы вам всем нос утер.
– Спасибо. – Пашка устал от разговора, лоб его покрылся испариной. – Я поплюю немного, ладно?
– Ага, я еще вечером зайду.
– Да, – Пашка как-то напрягся. – Ты Любе передай, пусть заходит.
– Передам, – сказал я, чувствуя угрызения совести. – А Галя Бузакина тебя навещает?
– Заходит, – улыбнулся Паша. – Слушай, он приподнялся на кровати. – Пуховой обязательно привет передай, ладно?
– Конечно, Паша. – Почему-то мне стало стыдно, я понимал, что меня скоро выпишут, а он останется лежать в этой больничной палате.

Через несколько дней Заячья губа вылечился и был выпущен на свободу. Меня поили хлоридом кальция, димедролом и делали уколы. Через неделю болезнь отступила.

Когда меня выписывали, врач объяснил, что узбекский виноград был спрыснут какой-то вредной химией для избавления от насекомых, а вместо насекомого жертвой химикатов оказался я. Но беспокоиться уже не о чем, потому что отек спал, яд вышел из организма. Вот только аллергические реакции могут остаться.

Бабушка кивала головой, а я не выдержал и спросил: «А что там с Пашей Чумаковым?»

– Чумаков? Мы делаем все, что можем, – нахмурился врач.
– А когда его выпишут? – не унимался я, чувствуя себя предателем. С одной стороны я хотел, чтобы Пашку поскорее выписали, с другой...
– Боюсь, что с окончательным диагнозом подождать, – нахмурился доктор.
– Веди себя прилично, – рассердилась бабушка. – И не отвлекай доктора от работы.
– Куртку одень, похолодало, – бормотала бабушка. Меня поразил холодный, прозрачный воздух и ощущение бесконечности пространства. По улице куда им вздумается шли люди, понятия не имея о том, что творится за кирпичными больничными стенами...

4.

Класс наш начали готовить к празднику строевой песни, и обнаружилось, что петь хором и маршировать я совершенно не умею. Наша новая пионервожатая, тоже Люба, в коричневом платье, хлопчатобумажных колготках и прыщами на лбу, оказалась прирожденной комиссаршей.

–левой, левой. – Визжала она. – правой. – Тех, кто ошибется не примут в пионеры. Равнение направо. Шагом марш! Запевай!

После репетиции я подошел к Любе Пуховой.

– Привет, – она улыбнулась мне. – Выздоровел?
– Люба, – я сделал над собой усилие. – Ты знаешь, я в больнице Пашку видел.
– Ой, правда? Как он там? Скоро вернется?

– Не знаю. Похудел немного. Сказал, что будет рад, если ты его наведишь.
– Слушай, какая же я нехорошая, – Люба покраснела. Все собиралась, да так и не сходила. Стыдно.

– Короче, он тебя ждет, – пробормотал я и подумал, что такого идиота еще надо поискать на поверхности нашего шарика.

На улице начались осенние дожди. Мы убегали на стройку, прятались среди бетонных панелей будущих пятиэтажек. В один из сумрачных дней, когда дождь льет с утра до вечера, а сумерки за окном начинаются днем, бабушка уехала в Москву. Ключ лежал под ковриком, котлеты в холодильнике. Уроки делать не хотелось, и я включил телевизор.

В голубоватой глицериновой линзе пел народный хор. Бабы в стилизованных кокошниках залихватски подмигивали и приплясывали. Я достал из портфеля учебники, разложил их на кухонном столе и вздрогнул от дверного звонка.

На лестничной клетке стояла Люба Пухова. Она дрожала, волосы ее намокли.

– Привет, Ты знаешь. Паша.

– Что? – Испугался я.

– Пашка умер.

– Как? – Я ничего не понимал. – Как умер?

– Я не знаю. В больнице. Мне только что Клавдия Васильевна сказала.

– Почему?

– Я тоже не понимаю. Я же его навещала несколько дней назад. Он просил сходить к нашему дереву, помнишь, где мы играли. Покачаться за него.

– Надо же, он и меня об этом просил.

– Побежали...

– Сейчас? Такой ливень на улице.

– Побежали, пожалуйста. Я тебя очень прошу.

Я не узнавал городок. Пелена дождя то обрушивалась перед нами, отделяя прошлое от будущего, то исчезала, испаряясь на глазах, дома ветшали и строились одновременно, к подъездам подкатывали «Волги» с новорожденными, и отъезжали автобусы с гробами. Мне было жутко, больно, сладко и странно одновременно.

Трава на дорожке, ведущей в рощу от станции была мокрой, тропинки размокли от дождя, на ботинки налипли комья грязи.

– Ну, вот мы и пришли, – Люба вдруг успокоилась. – Давай представим себе, что все приснилось, ладно?

– Давай.

– И как будто Пашка здесь. Привет, Чумаков. Ну что ты стоишь, ну подтолкни же меня... – Платье ее вымокло и облегло детскую фигуру, острые плечики и худые ноги. – Еще. Еще, сильнее. Еще выше. Закрой глаза. Хорошо. Все, не хочу больше качаться. Стой.

Я придержал веревку.

– Спасибо. – Люба вдруг прикоснулась губами к к моей щеке.

Дыхание у меня перехватило и тоже прикоснулся к ней губами, не помню даже куда, то ли в лоб, то ли в щеку, по которой стекали капли дождя.

Это был первый поцелуй в моей жизни.

– Вот и все. – Устало сказала Люба. – Я совсем замерзла. Проводи меня домой.

Через два месяца родители нашли обмен и мы с бабушкой вернулись в Москву. Любу Пухову я больше никогда не видел.

5.

Я вернулся в этот городок только через тридцать пять лет. Поляна за станцией превратилась в заросший до безобразия лесок, мимо прудов проложили асфальтовую дорогу, по которой гордо катились «Ауди» и «БМВ».

– Ну как, узнаешь родные места? – спросил Димка. Собственно, ему поклон – он привез меня в детство, он меня из него и увезет через пару часов.

– Погоди. Балконы узнаю. Пятьдесят лет подряд один и тот же вечный пластик в трещинах. Здесь мы снежные горки строили. А двор такой маленький почему–то. Знаешь, я помню, как однажды пошел град, градины были огромными, лежали на земле и таяли и от них шел пар.

– Пойдем на станцию. Рынок посмотрим.

На рынке, как и тридцать лет назад сидели бабуся с вениками и вязаными шапочками. Разве что ларьков стало больше. За станцией начинался заросший подлесок, загаженный окурками, обрывками газет и всяким хламом..

– Я ничего не понимаю. Ничего. Ведь здесь была поляна. Березы, простор, солнце, а это что за биомасса?

– А ты чего ожидал?

– Ну как же так? Ведь такой свет был, как у Куинджи. И елочки мохнатые, у меня же с детства в башке застряло, что «в лесу родилась елочка» – это должно было быть отсюда.

– Бурьяном все поросло. Обычно так после пожара бывает.

– Стой! – Как будто интуиция вела меня, потом я понял, что это был старый березовый пенёк, около которого божьи жгли костер.– Я помню. Здесь направо.

– Куда же направо. Там сплошная чаща, через кусты не пролезешь.

– Пролезешь. Сюда!

В заросшей рощице стояла наполовину высохшая сосна. Та самая, дерево моего детства. Слегка обгоревший ствол я узнал сразу же. Смолистые, вывернутые ветки. От обрубков, на которые мы в детстве набрасывали веревки и качались остались причудливые вмятины, похожие на глаза лесного чудища. Мощные корни уходили в стороны, презирая разросшийся кустарник.

Около дерева сидели на траве и курили две слегка нетрезвые тетки неопределенного возраста. Они недружелюбно уставились на незваных гостей.

– Эй, чего надо? Давайте, мужики, валите отсюда, – одна из женщин рассердилась.

Я с ужасом всматривался в помятое, грубое лицо. Казалось, что серые глаза были похожи на глаза девочки, в которую я был влюблен в детстве.

– Люба? – с испугом спросил я.

– Какая я тебе Люба, – рассердилась женщина. – Чего пристал?

– Извините, обознался.

– Ходят здесь...

Я подошел к дереву и прикоснулся пальцами к шершавой коре.

– Эй, ты чего, на голову больной? – С любопытством посмотрела на меня тетка с серыми глазами.

– Вы случайно не знаете, сколько лет живут сосны? – неожиданно спросил я.

– Нет, точно псих. – вступила вторая тетка. – Я как его увидела, сразу поняла – из психушки сбежал. Слушайте, мужчина, дайте лучше рублей тридцать на пиво.

– Лет сто, а может быть и двести, – бормотал я, не обращая на женщин внимания. В ушах отдавались эхом едва слышные далекие голоса, как бывает в гулком соборе, в

котором разговаривают шепотом. Будто мазками невидимой кисти импрессионистов в воздухе прорисовывались фигуры детей, качающихся на ветках, прыгающих около ствола и с испугом прячущихся от свинцовой тучи, наползающей с горизонта.

Я погладил сухую кору и прикрыл глаза. Высохший ствол, давно обрубленные ветви. Так и все мы, потерянные, забытые, разъехавшиеся по разным городам и странам. Но ты еще живешь, и мы тоже. Все мы отсюда, как ни крути, и возвращаемся к тебе в мечтах и воспоминаниях. Дерево моего детства... Спасибо, что стоишь до сих пор, ты мне снишься ночами, как любимые женщины.

Марксисты

1.

Сентябрь встретил учеников десятого класса углубленным изучением общественно-политических дисциплин. Причин тому было множество – напряженная международная обстановка, тяжелейшая битва за урожай, инструкции ГОРОНО, и новая учительница обществоведения.

Началу учебного года предшествовали месяцы свободы и чудных открытий. Моя сестра наконец-то дождалась кооператива в Теплом Стане, рядом с югославским магазином «Ядран». Новый девятиэтажный дом, восьмой этаж, светлые коридоры, пахнущие краской, потрясающая перспектива из окна – половина Москвы, лесной массив, шпиль университета. И книжные развалы, перевезенные из университетского общежития – наследие оттепели и умеренно-оптимистичных ранних семидесятых. Библиотека фантастики, Стругацкие, ксерокопии первых изданий Булгакова, жизнь Замечательных Людей. За эти месяцы, казалось, я прожил целую эпоху.

Теперь все летние радости в прошлом, хотя и недалеко. Утром мы влезаем в казенную школьную форму: синие брюки и пиджак с металлическими пуговицами.

К школе можно пройти двумя путями. Первая дорожка идет в гору, между двух пятиэтажек, в одной из которых живет мой старый приятель Гоша, а в другой наши школьные красавицы – Галя с Танюшей. Танька живет на третьем этаже, Галя на пятом, и мы с ними вечерами флиртуем – я достаю подзорную трубу с двадцатикратным увеличением, а девочки делают вид, что меня не замечают.

Но мы с Серегой пойдем в школу другим путем. Окружной путь этот пролегает мимо телефонной будки и котельной. Нормальные герои всегда идут в обход. Серега – мой лучший школьный друг. До сих пор помню, как мы познакомились. Случилось это в физкультурной раздевалке, расположенной в школьном подвале.

2.

В раздевалке пахло слегка подтекающей канализацией и юношеским потом. Мы натягивали синие физкультурные штаны и зашнуровывали кеды китайского образца. Бегать кросс по школьному стадиону не хотелось.

Мальчишки обсуждали девчонок, которые наверняка переодевались где-то совсем рядом, за толстой подвальной стеной, неловкими движениями освобождаясь от школьной формы. Еще обсуждали заграничную жизнь. Перед физкультурой был урок английского, на котором полная и румяная Генриетта Сергеевна демонстрировала ученикам фильм про Лондон и Темзу. В этом учебном фильме широкоплечий ученик и стройная ученица катались по Темзе на кораблике и говорили на хорошем Оксфордском английском.

– Вот стану хоккеистом, – Генка Захаров занимался в спортивной секции ЦСКА, – обязательно поеду в Англию. Как в кино показывали, сяду на парходик и

прокачусь по матушке–Темзе. И Маринку с собой возьму...

– Вообще–то Темза мужского рода. Поэтому в английском правильнее говорить «Батюшка–Темза» – юношеским баском, вполголоса сообщил Серега.

Серега был «новеньким» – он недели две как пришел в наш класс, и слегка чурался окружающих.

– Чего заливаешь? Сейчас как дам в ухо, будешь знать.

– Я не заливаю, – сжал зубы Серега. Темза действительно мужского рода.

– Точно, Генка, – вступился я. – Я тоже об этом слышал.

– Напридумывают, – оскалился Захаров. Батюшка Темза. Чтобы река мужского рода была. То ли дело у нас: Волга–матушка.

– А Енисей? – Ехидно спросил я.

– Умные все больно пошли. Козлы, – Генка сплюнул и вышел из раздевалки.

– Спасибо, – Серега зашнуровывал кеды. – Ты давно здесь учишься?

– С четвертого класса. А ты откуда приехал?

– Родителям наконец квартиру дали, а до этого я у бабушки жил на Проспекте Мира. Отец все время в командировки ездил, только что из Америки вернулся.

– А кто он у тебя? Дипломат что ли?

– Да нет, он профессор. Биолог. Хочешь, заходи в гости, я тебе американские игрушки покажу, и пистолет духовой. Стреляет как настоящий.

– Спрашиваешь, – согласился я.

Жил Серега в скромной двухкомнатной квартирке около самой линии железной дороги. Игрушки меня разочаровали – машина, поезд и ракета с американским флагом. Зато Серега угостил меня настоящей американской жевательной резинкой и дал подержать в руках спортивный пистолет. Пострелять нам удалось всего один раз – последние холостые пули, теперь надо было ждать следующей зарубежной командировки отца.

3.

По утрам мы встречались перед началом занятий – Сережкин дом был чуть дальше моего. Местом нашей встречи, которое изменить нельзя, хотя фильм этот появился значительно позже, была телефонная будка, около которой школьники закуривали первую сигарету.

Сигареты у Сереги были хорошие – «Кент», который в те годы достать было невозможно. Лето он провел у своего дядюшки в Ленинграде. Дядька этот, загадочная и романтическая фигура на шахматной доске уходящего века, по долгу службы занимался чем–то связанным с портами и моряками. Племянника он обхаживал как мог: из Ленинграда Серый приехал с блоком импортных сигарет, чемоданом западных пластинок и колодой порнографических карт. Еще он уверял меня, что потерял в Ленинграде девственность, черт его знает, скорее всего привирал.

Тем солнечным осенним утром все было как обычно. Жители микрорайона спешили по своим делам, вот и Серега появился на асфальтированной дорожке, и помахал мне рукой. У него была походка кряжистого Вологодского мужичка, приземистая и внушающая уверенность в правильном выборе центра тяжести чуть ниже пояса.

– Ну, как дела? По Кенту? – Спросил он и протянул мне пачку сигарет. Держи, пока не кончились. Хороший все–таки табачок. Что день грядущий нам готовит?

- Перед смертью не накуришься, – мрачно ответил я.
- Что так пессимистично?
- А ты забыл? Обществоведение. Опять Вера нудить будет.

Вера Семеновна – наша новая учительница по общественно-историческим наукам. В отличие от мирной, советской до мозга берцовых костей Нины Ивановны, которая в прошлом году размеренно бубнила себе под нос главы из учебника, Вера горела идеологическим огнем и (что гораздо хуже) пыталась зажечь им учеников. Откуда она такая взялась точно никому не известно. Говорили, что Вера много лет преподавала историю КПСС в каком-то институте в Сибири, пока мужа не перевели на ответственную работу в Москву. Сибирским студентам повезло, а московским школьникам выпала черная метка.

Стоило седовласой и худой Вере начать рассказывать про какой-нибудь партийный съезд, как щеки ее покрывались румянцем, в голосе появлялись железные нотки, а глаза закатывались. Она не вела урок, она шла на свой последний и решительный бой. В этом гипнотическом трансе она часто делала смешные оговорки. До сих пор помню ее фразу: »Тема сегодняшнего урока – Коммунистическая партия – организатор и вдохновитель Великой Отечественной войны«.

Гораздо хуже было то, что в своем стремлении выковать учеников новой коммунистической формации, Вера устроила факультативные занятия и всячески внедряла дополнительную внеклассную работу: написание рефератов, глубокое изучение причин каких-нибудь отклонений от линии партии. Работа эта, тем не менее была обязательной, а невыполнение ее приравнивалось к предательству Родины.

По понятным причинам, директор школы Веру всячески поддерживал, и слух о ней дошел до райкома партии, и до ГОРОНО. Говорили, что о Вере должны написать статью в газете, а опыт ее внедрить повсеместно в Московских школах.

Урок начался с изучения теории социалистической революции. Я посматривал на одноклассниц, записывающих отдельные мысли исторички в тетрадки. В те годы девчонки носили мини-юбки, причем чем короче была мини-юбка, тем моднее. Серега что-то рисовал в учебнике. Урок уже близился к концу, когда случилось то, чего я боялся.

– Сергей, Александр, – спокойно сказала учительница. – Вы одни из лучших учеников в классе. И вам доверят высокая честь.

– Честь? – вздрогнул я.

– Да, – с придыханием произнесла Вера. – Это честь и доверие, потому что тема чрезвычайно ответственная. К нашему следующему занятию вы должны подготовить реферат о том, как именно вы поняли Ленинское определение революции. И о том, как это определение находит все новые и новые подтверждения в наши дни.

– Вера Семеновна, – застонал Серега.

– Обратитесь прежде всего к первоисточникам, к Ленинским статьям. Внимательно изучите материалы съездов и пленумов ЦК КПСС, периодику. Я очень рекомендую взять в библиотеке журнал »Коммунист«, в нем бывают очень неплохие обзорные статьи. Тема большая, разделите ее между собой.

– Вера Семеновна, – взмолился я. – Так много уроков задают по математике, да и по литературе надо сочинение сдавать.

– Я немного помогу. – Вера достала из книжного шкафа толстый том в суперобложке. – Это очень неплохая монография. »Рабочее движение в России и Ленинская теория революции«

На обложке были нарисованы бегущие матросы с винтовками и сталевары на вахте. Сталевары в шлемах напоминали тевтонских рыцарей, у которых отпилили рога, и я

понял, что мы с Серегой обречены.

4.

Пару дней мы валяли дурака, но урок обществоведения неотвратимо приближался. После занятий мы пошли домой к Серому.

– Ну, и о чем мы будем писать? – Садиться за реферат не было ни малейшего желания.

– Погоди. Не суетись. Это дело надо хорошенько обмозговать. – Серега обладал потрясающим житейским чутьем. – Мы ведь живем для того, чтобы получать удовольствие, так?

– Ну, вроде бы так.

– Расслабься. Мысли, они сами придут, или не придут. Смотри, что у меня есть. Роскошь – он достал из ящика стола кубинские сигары в алюминиевых трубочках – саркофагах. Ты только понюхай.

Серега достал из шкафа бутылку армянского коньяка..

– Давай-ка по рюмочке. Хороший, кстати, коньячок. А для души – Deep Purple.

У Сереги был роскошный по тем временам первый отечественный настоящий стерео-проигрыватель »Вега« с большими колонками. Мы часто обсуждали факт бытия: сочетание хорошей аппаратуры и привезенных из Ленинграда пластинок должно быть крайне привлекательным для симпатичных одноклассниц, но не успели реализовать далеко идущие планы. Учебный год ведь еще только начинался.

– *Smoke on the water*, – взревели динамики.

– Чувствуешь, как басы передает? – гордо сказал Серый. Ну, за успех нашего дела.

Коньяк прочистил сознание, ноги сознание подводили. Для усиления эффекта мы вышли на балкон и закурили крепкие Кубинские сигары. В результате пустырь, ржавые крыши гаражей и полотно железной дороги окрасились таинственным светом и приобрели одним нам понятное внутреннее наполнение.

– И жить хорошо, и жизнь хороша, – сказал Серега, выпуская изо рта колечко едкого дыма. Ну что, садимся писать?

– Ага... – усмехнулся я. – Реферат. Сейчас мы с тобой напишем...

– Давай еще по пол-рюмочки, – Серый разлил коньяк. – За общественные науки.

– За них, – на душе стало совсем тепло. Подвиги разведчиков, конспиративные квартиры Ленина и первый, а тем более второй съезды РСДРП казались близкими и выпуклыми. – Есть такая партия! – с воодушевлением воскликнул я.

– Аминь, – ответил Серега и почему-то перекрестился.

– А о чем писать-то будем?

– Ну как. Тема задана.

– И что мы про революцию знаем?

– Ни хрена не знаем. Но не в этом суть. Материала у нас достаточно. А теперь давай проявим классовый подход и поймем, чего от нас хотят. А хотят от нас двух вещей. Во-первых, чтобы мы тщательно цитировали Брежнева. И целовали его в жопу, – Серега начал истерически хохотать.

– Ну ты даешь. Помншь, ты на меня орал, когда я в школу Булгакова принес и читал на переменке. А сам такие вещи говоришь.

– Так ведь не слышит же никто, – поморщился он. – А второе – Серега на секунду задумался. – От нас хотят имитации мышления, так сказать, творческой инициативы масс.

В конструктивном ключе.

– Инициатива наказуема, – вспомнил я.

– А в том-то и дело, что инициатива должна быть простой. Берешь какой-нибудь Ленинский тезис. Например: революция может победить в одной, отдельно взятой стране. И развиваешь. Если, скажем, страна состоит из России и республик, то революция может победить и в республиках, при условии, что они еще более слабые звенья. Я понятно излагаю?

– Погоди. Это же красиво. Она вначале побеждает в одной, отдельно взятой, слабой, но не самой слабой. Потому что в относительно развитой и проникнутой идеями. То есть все относительно. Потом эта революция расплзается на более слабые, но не охваченные идеями. И получается мировой пожар на горе буржуям и СССР.

– Елки! Ты понимаешь, что мы с тобой только что сделали? – Серега возбудился. – Мы творчески развили Ленинскую теорию революции. Да если это красиво изложить нам сразу за четверть пятерку поставят! Теперь надо с умом это сделать – все по первоисточникам и цитат побольше. Все, за работу. Я пойду кофейку заварю покрепче.

Серега принес турку и банку сгущенки – он всегда пил кофе со сгущенным молоком.

– Пока ты ходил я название придумал: «О некоторых вопросах теории слабого звена и распространения социалистической революции в современных условиях».

– А чего, – Серега покровительственно похлопал меня по плечу. – Грамотно излагаешь. Теперь – первоисточники.

В ход пошли томики Ленина и научные труды в скучных переплетах с золотым тиснением. А также взятая из школьного кабинета последняя книжка «Ленинским Курсом» с выступлениями генсека Брежнева.

Действовали мы просто. Расписав на бумаге основные тезисы нашего сомнительного творения, мы начали перемежать их цитатами из Ленина, Брежнева и статей ученых института Марксизма-Ленинизма. Найти подходящие цитаты было сложнее всего. Серега искал цитаты, а я пытался связать предложения, взятые из разных источников. Время от времени выяснялась какая-нибудь несуразица и процесс коллективного сочинительства прерывался неудержимым ржанием.

Часам к семи вечера нашими совместными усилиями были написаны несколько страниц.

– Уфф, – я потряс рукой. – Прямо рука бойца колоть устала.

– Ничего. Нас ждут великие дела, – подмигнул мне Серега.

Мы выкурили по сигарете, я спустился по лестнице, вышел во двор и пошел домой мимо сидящих на скамейках бабусек и мирно играющих в песочнице детей. «Интересно, пахнет от меня еще коньяком, или нет?» – слегка волновался я.

Реферат мы сдали на проверку и идеологическую доработку Вере Семеновне и про него забыли – на носу была контрольная по математике.

5.

На перемене мы прятались у подъезда, выходящего на школьный двор. Здесь можно было спокойно курить, не боясь нарваться на завуча или директора. Слева к школе был пристроен физкультурный зал, из которого доносился низкий, почти что мужской голос нашей преподавательницы физкультуры, Галины Ивановны. Эта женщина с грубыми усиками, пробивавшимися над верхней губой и мускулистыми ногами, обтянутыми голубым трико, должна была родиться мужчиной.

– Раз, два, левой, левой, – доносилось из физкультурного зала, – Кузнецов, лови мяч, передача. Пошел, вперед пошел!

У подъезда стояла кучка школьников – Мы с Сергеем, Игорь, Толя были детьми из благополучных семей. Андрей Усиков присел на корточки, жадно затягиваясь »Казбеком«. Его прошлогодние школьные брюки, протертые на коленках и изношенный пиджак, напоминали более благополучным из нас о суровой жизни, ожидающей нас по окончании среднего учебного заведения.

Сергей рассказывал анекдот.

– Ленин с Дзержинским получили партию презервативов. Дзержинский у него спрашивает: »Владимир Ильич, ума не приложу, что с ними делать?«

– »Эх, батенька, учить мне вас и учить! Где же ваша партийная смекалка? Один отдайте мне, один оставьте себе, остальные незаметно проколите, и раздайте меньшевикам!«

– Батенька, – школьники скорчились от смеха. – Ой, держите меня, – Андрей Усков даже загасил сигарету, закашлявшись своим глуховатым баском, сквозь который прорывался остаток тоненького юношеского фальцета. – Ну ты даешь...

– А я еще один знаю, – не выдержал я. – Ленин говорит Крупской. »Наденька, когда я умру, похороните мой член отдельно от меня«. – »Да господь с тобой, Володенька, – отвечает Крупская, что случилось?« – »Ну как же – говорит Владимир Ильич. – Вот Мартов прочтет в газете некролог и скажет: «Ленин умер, и хуй с ним!» И опять, и опять будет неправ!

У школьников началась истерика, но тут из подъезда выглянула физкультурница.

Вера Семеновна почему-то на урок опоздала и вошла в кабинет с покрасневшим лицом и блестящими глазами. Казалось, она недавно плакала. Класс испуганно притих, чувствуя, что произошло нечто необычное, нарушающее привычную школьную рутину.

– Ребята, – дрогнувшим голосом сказала Вера Семеновна. – Я хочу сообщить вам что-то очень важное. И это касается именно учащихся вашего класса. – Вера достала из кармана кофты носовой платок и приложила его к уголкам глаз. – Сергей и Александр, пожалуйста встаньте.

– Блин, – в ужасе прошептал Серега. – Что это с ней?

– Не знаю, – я почувствовал, что ладони у меня стали влажными и холодными. Я был уверен, что кто-то заложил нас за рассказанные на переменке анекдоты.

– Пожалуйста, подойдите к доске и повернитесь лицом к классу.

Одноклассники смотрели на нас с легким ужасом, смешанным с любопытством.

– Ребята. Случилась удивительное и неожиданное событие. – Голос исторички вдруг стал тонким, и размеренным. – Эти ваши одноклассники, простые советские школьники по моей просьбе подготовили реферат на тему Ленинской теории революции. Так вот, вместо школьного реферата у Саши и Сергея получилась серьезная научная работа. Я не побоюсь сказать, что работа эта проливает новый свет на Ленинское учение.

Я почувствовал, как щеки мои теплеют и краснеют.

– Как Владимир Ильич Ленин в свое время творчески развил учение Маркса и Энгельса, так и ребята обобщили и переосмыслили Ленинскую формулировку...

– Е-мое, – шепнул Серега.

– Удивительно, с каким природным классовым чутьем подошли они к проблеме – продолжала Вера. – Это талант, причем талант врожденный и редкий. Таким талантом обладали Фридрих Маркс и Карл Энгельс (судя по оговоркам, Вера впала в привычный идеологический транс).

– Ты понял? – подмигнул мне Серега. – Теперь мы с тобой будем Марксом и Энгельсом, осталось только понять: кто кем.

– За свою педагогическую практику я воспитала не один десяток поколений советских людей, строителей коммунизма. Смотри на этих ребят, я горжусь нашей страной, нашей советской школой. Поздравляю вас, товарищи.

– Спасибо, Вера Семеновна, – голос у меня почему-то был гаденьким.

– А теперь – самое главное. – Историчка полезла в сумку и зачем-то достала из нее горсть мелочи. – Сегодня я разговаривала с секретарем райкома КПСС по идеологической работе Владимиром Ивановичем Зверевым. И сейчас, ребята, вы поедете в райком, Владимир Иванович вас ждет. Вы лично в руки передадите ему свою работу. Я думаю, что речь может идти о серьезной научной публикации, об участии во Всесоюзном конкурсе работ по общественно-политическим дисциплинам.

– А как же литература? У нас сочинение, – вырвалось из меня.

– Не волнуйтесь. С директором школы я договорилась, так что от занятий вы сегодня освобождаетесь. Вот вам деньги на проезд – она высыпала в ладони горсть монет. – И обязательно позвоните мне вечером.

6.

Сергей подбросил портфель, выждал, пока он перевернется несколько раз и упадет в грязь. Потом он прислонился к заборчику около школьного стадиона и начал трястись от смеха.

– Ну и ну, – он вытирал слезы. – А вдруг мы и правда чего-нибудь такое открыли? Представляешь, теперь университет у нас в кармане. Да и золотая медаль тоже.

– Тоже мне, будущий классик, – я внимательно посмотрел на него. Вид у тебя какой-то несолидный, рубашка расстегнута.

– Слушай, давай после райкома поедем гулять в центр. У нас же целый день впереди.

Чувство радостного ожидания неизведанного, быть может причастности к маячившему впереди светлому будущему охватило нас. Троллейбус в этот утренний час был наполовину пустым, везущим бабушек с авоськами в продовольственные магазины, расположенные около остановки метро. Бросив пяточок в автомат и спустившись на эскалаторе на перрон, мы вскочили в последний вагон поезда, отправляющегося в центр, в последний момент увернувшись от захлопывающихся дверей, и радостно плюхнувшись на сиденье.

– Куда это вы, сорванцы, едете, – напротив нас сидела строгая бабуся, совершавшая жующие движения беззубым ртом. – С уроков удрали, бесстыжие, совести у вас нет!

– Вы, бабуся, выражения выбирайте, – Сергей поправил воротник школьной рубашки. – Мы с партийно-правительственным заданием едем.

– Еще чего напридумывали, – старушка распалаясь все больше. – Вот я узнаю, из какой вы школы, и сообщу. Совсем распустились.

– Ножки-то у тебя, бабуся, тоненькие, а рука за партбилет держится, – Сергей вошел в раж.

– Вот я вам сейчас, – бабуся задохнулась от гнева.

– Выскакиваем, – деловито скомандовал Сергей, и как только темнота туннеля сменилась мраморно-голубоватым аквариумом станции, мы выпрыгнули на платформу.

– Несolidно, – нахмурился я. – А вдруг сообщит, или узнает кто, или милицию вызовет. И плакала наша пятерка в четверти.

– Ладно, ладно, просто настроение у меня хорошее, – усмехнулся Серега. – Больше не буду.

На «Белорусской» вверх уходил длиннющий эскалатор. Мы вскочили в трамвай, затем просочились в переулок, и вскоре оказались около двухэтажного здания райкома.

– А вы по какому делу, молодые люди? – На входе сидела женщина средних лет с усталым лицом.

– Мы к Владимиру Ивановичу Звереву – Сергей приобрел легкую щеголеватую наглость выдавшего вида комсомольского вожака.

– Второй этаж налево. Обратитесь к секретарше, Владимир Иванович сейчас находится на совещании.

– Спасибо. – Мы, слегка робея, прошли внутрь здания. На лестнице толклись мужчины в серых костюмах, в воздухе висел густой сигаретный дым. Меня поразили их одинаковые лица, бледные, слегка опухшие, с каким-то зеленоватым отливом, а также сальные, будто слезящиеся, глаза навывате.

– Вот она, власть, – Серега неожиданно переменился, – смотри, Саня, эти люди руководят другими людьми. У них проблем нет. Совещания, протоколы, выступления, зарубежные командировки, машины с шоферами, санатории, квартиры.

– Да ладно тебе, – обстановка партийного здания начинала меня угнетать. – Вы к кому, мальчишки? – У высокой двери с золотой ручкой сидела еще одна дама, я мог поклясться, что она родная сестра-близняшка вахтерши, дежурившей на первом этаже.

– Мы к Владимиру Ивановичу.

– А, вы те самые ребята из школы? Он вас примет чуть позже. Сейчас у Владимира Ивановича совещание, он освободится через тридцать минут.

– Мы подождем.

– Ну ждите, видите стулья в коридоре. Только тихонечко, ребята. – Секретарша заговорщически подмигнула нам. – Небось рады, что с уроков удрали?

– Ничто человеческое нам не чуждо, – обобщил я шепотом.

В коридоре было тихо, лишь из-за обитой дерматином двери слышался женский смех. На маленьком журнальном столике лежала партийно-идеологическая литература: фотографический альбом, посвященный жизни Карла Маркса, серый кирпич «Истории КПСС» и брошюры с недавними выступлениями членов Политбюро. Некоторое время мы молча листали книжку про Маркса, рассматривая старые фотографии. Неожиданно обитая дерматином дверь отворилась, и из-за нее выскочили две девицы в мини-юбках с ярко накрашенными губами.

– Ой, Людка, держи меня, – они давились от хохота. – Неужели так и сказал? – Девушкам было лет по восемнадцать. – Чего, полез прямо во время инструктажа?

– Ну, – одна из них достала пачку сигарет. – Я ему говорю, не лапай, а он, нахал такой.

Голос у нее был с хрипотцой, возбуждавшей юношеское воображение.

– Ой, – девушка заметила нас, – смотри, мальчиков прислали. Я давно таких молоденьких не видела, комсомольцы-добровольцы. Мальчишки, а мальчишки?

– Вы к нам обращаетесь? – Получилось это у меня довольно-таки хрипло, мы с Сергеем никак не могли отвести глаз от обтянутых колготками ног.

– А к кому же еще, – девушки снова начали хихикать.

– А вы чего, девушки, – Сергей набрался было наглости, но запнулся, подавившись на

середине фразы.

– Да ну тебя, Людка, не развращай малолетних.. Давай лучше книжки умные почитаем. – Девушки закурили и уселись напротив нас, листая большой альбом, посвященный жизни Карла Маркса.

– Смотри, что написано: Карл Маркс был евреем. – Девчушек это почему-то ужасно рассмешило. Они словно по команде заложили ногу за ногу, мини-юбки приоткрыли смутный полумрак сокровенного. Рты у нас открылись, дыхание перехватило.

– Ой, ну не могу, какие мальчишечки, – вздохнула Люда, но дверь в коридор приоткрылась.

– Девочки, почему до сих пор протокол не готов? – Из-за двери высунулся недовольный парень в добротном костюме. Он держал в руках стопку машинописных страниц. – Что за безобразие, перекур устроили. Здесь, кстати, курить нельзя, не знаете, что ли?

– Что это вы Николай Владимирович сердитый такой сегодня, строгий. – Люда демонстративно загасила окурочек. – Неудовлетворенный, можно сказать. Вы намекните, ежели чего, мы что-нибудь придумаем.

– Хватит базар устраивать, развели здесь, – рявкнул парень. – Быстро заканчивайте протокол, Владимир Иванович ругаться будет.

– Сейчас, сейчас, – девушки недовольно поднялись и исчезли за дверью, обитой дерматином.

– Ну и птички, – мы с Сергеем понимающе переглянулись.

Последующие несколько минут мы закрыв глаза вспоминали прекрасные мгновения, но юношеская эротическая медитация была прервана толпой мужчин в костюмах, вывалившихся из кабинета секретаря.

– Надо будет принять к сведению, – высокий мужик нервно закурил. – Дадим сводку в ЦК, хорошо бы весь объем партийно-воспитательных мероприятий свести в единую таблицу.

– Владимир Иванович, ребята эти к вам, – секретарша почтительно приподнялась со стула.

– Вы от Веры Семеновны? – басом спросил секретарь. – Здравствуйте, очень рад познакомиться, проходите в кабинет. – Галочка, – он обращался к секретарше. – Организуй нам чаек, как всегда.

Мы прошли в кабинет.

– Ну что же, ребята, говорят, вы написали серьезную работу. Развили, так сказать, некоторые положения Ленинской теории.

– Ну да, – смущенно сказал Серега. – Собственно, вот наш реферат – он протянул тетрадку.

– Это вы большие молодцы. – Владимир Иванович с серьезным видом листал странички. – Очень своевременно. Вот ведь, Ломоносовы, какие в стране нашей таланты зарождаются. Наперекор, так сказать инсинуациям.

– Мы, Владимир Иванович, проявили классовый подход, – намекнул Серега.

– Вот и я про то же. Классовый подход должен быть. А то ведь такая ерунда, патлатые эти, рок, так сказать, музыканты... Да, работу вашу мы поддержим, дадим ей ход. Нам сейчас очень нужны такие работы. Сами знаете, время сложное.

– Владимир Иванович? – секретарша принесла поднос с чаем, печеньем и конфетами.

– Спасибо, Галочка. Угощайтесь, ребята. Вы люди уже взрослые, сознательные, как я вижу. Я вот о чем хочу с вами поговорить. – Владимир Иванович закрыл тетрадь. – Вы должны стать примером для школьников нашего района. Для комсомольцев. Да и для

всей советской молодежи. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Мы постараемся, Владимир Иванович, – смутился Серега.

– Так вот. Я, ребята, буду с вами откровенным. Ситуация в стране непростая, особенно с молодежью, с идеологической работой. Ваши сверстники ходят с длинными патлами, пьют портвейн, слушают западную музыку. До прямых диверсий доходит. В такой обстановке особенно важен положительный, позитивный пример. Помогите нам, а за помощью вам партии дело не станет.

– Мы все понимаем, Владимир Иванович. Но хотелось бы знать, что мы... Ну, вы понимаете.

– Ай да молодец парень.– Почему-то обрадовался секретарь райкома. – У вас, комсомольцы, вся жизнь впереди. Как вы смотрите на более активное участие в работе райкома комсомола? Введем вас в комиссии, представим, раскрутим. Не пожалеете. Рекомендация, характеристика, лучшие ВУЗы. С такой бумажкой будет у вас чего хотите, ребята. Сможете работать журналистами, дипломатами, историками, специалистами по Азии и Африке. Вот, кстати, у меня лет пять назад крутился такой Володя, собрания проводил, субботники организовывал, а теперь в посольстве в Лондоне работает... Нет, я давить на вас не собираюсь, если хотите стать машиностроителями, или инженерами – мы это тоже поддерживаем. Подумаете, ребята?

– Подумаем, Владимир Иванович.

– И чтобы не расслаблялись. Ждем от вас еще творческих работ, так сказать,. Открытий чудных. Приятно посмотреть, стрижка человеческая, лица нормальные, советские. Все у вас впереди, ребята, завидую, если честно. Молодец все-таки ваша Вера Семеновна, подвижница, народная учительница, надо бы ей орден дать. А может и дадим. Вот будет съезд, и дадим.

– Владимир Иванович, мы с удовольствием в комсомоле...– вдруг возник Серега. – Мы не подведем.

– Здрав штаны, – прошептал про себя я, но рот скривился в улыбке. – Не подведем!

7.

Солнечные зайчики играли в витринах магазинов, сигареты мы все выкурили и купили еще пачку «Столичных» на медяки, оставленные нам Верой Сергеевной. Легкий укор совести, возникший у меня в результате этой незаконной сделки, вскоре исчез, и мы с наслаждением закурили. В кошельке был еще рубль, и проходя мимо булочной, в которую только что привезли хлеб, мы не смогли удержаться от искушения, купив что-то ситное, с завитушками и по очереди отламывая от него куски. Хлеб пах свежестью.

– Да, – Сергей находился под впечатлением от увиденного в райкоме. – А я-то обществоведение учить не хотел. А ничего жизнь у людей, это тебе не на станке вкалывать от гудка до гудка...

– Хочешь таким же стать? – пожал я плечами. А по-моему скучно. Будешь сидеть в кабинете.

– Все не так просто. У жизни-то, у нее много сторон. Да, в кабинете, ну, как выясняется, в игры играть мы с тобой умеем. Зато номенклатура. Вот твои родители всю жизнь вкалывали, и что? Живут ведь от зарплаты до зарплаты, верно? В магазинах в очередях стоят, копейки считают. Машины ведь у вас нет? Дачи нет?

– Дача у нас была, родители ее продали, – уточнил я.

– Ну вот, и мои также живут. Батя хотя бы в Америке побывал. А теперь обстановка

обострилась, и хрен он еще раз за границу поедет. Вот ты кем хочешь стать?

– Я не знаю еще толком. Инженером или физиком.

– И будешь горбатиться до пенсии на сто двадцать рублей. Какую-нибудь формулу откроешь. Тоже мне, жизнь. А теперь прикинь – государственная машина, секретарши.. – Сергей на секунду замолчал, видимо вспомнив длинноногих девиц из райкома. – Квартиры, кстати, в специальных домах. Улучшенной планировки. Распределители опять же. Да и за границу пускают.

– Ну не знаю, – трансформация, на глазах происходящая с моим другом вызвала удивление, а где-то в глубине шевелился маленький, подленький червячок – а вдруг он прав...

– Нет, Санек, – Сергей даже как-то весь покраснел, – эта жизнь не по мне. – Ты глаза пошире открой, по сторонам посмотри!

Мы дошли до Манежной площади. От гостиницы «Интурист» разъезжались разноцветные автобусы, в которых сидели иностранцы. То и дело к подъезду подкатывали импортные автомобили, швейцар кидался к ним, открывая дверь, выпуская на московскую улицу загорелых мужчин в костюмах и женщин в длинных платьях.

– А может быть в дипломаты пойти, – продолжал мечтать Сергей. – А что, если с рефератом выгорит. Еще же почти год впереди. Общественная работа, райком комсомола. Можно постараться.

– У тебя прямо все расписано, – мне стало грустно.

– А что делать, нам уже пора задумываться о будущем. Сейчас стоит поднапрячься, зато потом ... – Серега задумался. – Тяжело в ученье, легко в бою!

– Не знаю, как это не по мне все это.

– Ну как знаешь, как знаешь. Подумай хорошенько. Нам выпал счастливый билет, глупо его не использовать. Кстати, у меня к тебе просьба. Поскольку реферат мы написали вместе, то прояви сознательность. Больше никаких глупостей, политических анекдотов. Мы в эту лодку попали вместе, вместе должны и выплыть. Обещаешь?

– Хорошо, – вздохнул я. – Я постараюсь.

8.

Партийно-идеологическая машина, в шестеренки которой нас затащило, начала крутиться. Слегка отредактированный наш реферат был направлен на городской конкурс работ по общественно-историческим дисциплинам и занял первое место. Его опубликовали в сборнике марксистко-ленинских трудов, а из нас с Серегой сделали образцово-показательных советских школьников. Про наши успехи и передовой опыт Веры Сергеевны писали «Учительская Газета» и «Труд».

С каждым днем мне становилось все противнее. Серега, напротив, расправлял крылышки и стремительно превращался в совершенно другого человека. Он стал секретарем комитета комсомола школы, чем-то он еще занимался в райкоме и постоянно исчезал с занятий на различные идеологические мероприятия.

Слава наша росла. Нас как курьез демонстрировали разнообразным делегациям коммунистических и рабочих партий и раза три снимали для программы «Время» и всякой кинохроники. Мы с Серегой каждую неделю сидели в президиумах каких-то бесконечных собраний и конференций в райкомах комсомола и партии.

Во время съемок я развлекался – строил кинооператорам страшные рожи и показывал наивную распальцовку конца прошлого века – палец вниз – добей его, вверх – пощади, а средний совсем неприличный. Операторы, впрочем, были тертыми калачами, строили мне рожи, и грозили убить после заседаний, в результате в хронике все выглядело прилично.

В те времена новости и изредка сатирический журнал «Фитиль» показывали перед западными и лучшими отечественными фильмами в кинотеатрах. Хроника была черно-белой, видимо, чтобы не вызывать лишних эмоций, связанных с цветовосприятием.

В конце первого курса я пригласил свою первую любовь, удивительную девушку с тонкими губами в кинотеатр «Космос». Перед фильмом про Обломова крутили хронику. «Так советская молодежь отвечает буржуазным реакционерам». Девушка смотрела в экран. У нее был удивительный профиль. А на экране Серега с ироничной физиономией держит два пальца «Victoria».

– Реакция не пройдет, – жизнерадостно заявляет диктор.

А ведь в это время я гнусно показывал оператору то, что о нем думаю. Как сейчас помню, школьников загнали в кинотеатр «Ленинград» на Соколе, перед сеансом мы основательно напились пива. А этот оператор, лысый, в грязном свитере и сальной рожей стоял перед нами в очереди. Теперь он красноречиво демонстрировал мне мое грустное будущее: отлезь, парень, а то хуже будет.

– Ой, – вздрогнула моя девушка. – Смотри, как этот парень на тебя похож.

«На встречу со школьниками пришли ветераны партии. Идеалы буржуазной культуры, рок-музыка, нигилизм глубоко чужды молодым советским людям, будущим строителям коммунизма. Молодые ученые-историки, простые советские школьники, развившие теорию...

– Аппчхи!

– И творчески обосновавшие

– Аппчхи!

– Что с тобой?

– Черт его знает, что-то в нос попало.

– В обстановке дружеского взаимопонимания прошел рабочий визит генерального секретаря ЦК Компартии Румынии товарища Георгиу Чаушеску...

– Пронесло, – понял я. И чихать перестал.

9.

Общение наше с Серегой постепенно сходило на нет. Он стал серьезным и нудным, сердился, когда я говорил что-нибудь ехидное и все чаще начал пытаться меня перевоспитать. Казалось, он сам начал верить тому, что говорит.

В конце марта у Сергея был день рождения. Наши красавицы, смуглая Лена, дочка университетских профессоров-археологов, и крепко сбитая Люба, мастер спорта по гимнастике, пили самодельный коктейль – греческий грейпфрутовый сок из консервных банок, смешанный с египетской настойкой Абу-Симбел.

– А вы слышали последний анекдот про Брежнева? – хихикал я.

– Так, знаешь что, – Серега неожиданно разозлился. Он крепко обхватил меня и зашипел в лицо. – Не смей! У меня дома не смей, слышишь? Или сюда больше не

придешь.

- Ты чего, Серый, охренел?
- Может и так, но жизнь из-за тебя портить не собираюсь.
- Чудак на букву «м», – вздохнул я.
- А ты – блаженный. Шут гороховый. Дождешься, пожалеешь еще.
- От такого слышу.
- Как знаешь. Я тебе передачи носить не буду.
- Ой, испугал.
- Хватит детством заниматься. Я не хуже тебя все понимаю, но существует реальная жизнь. Или ты играешь в игры, или пути наши расходятся.
- Расходятся, видимо.
- Смотри, пожалеешь.

Я тогда ушел и на Серегу здорово обиделся. Пути наши разошлись. К весне мне удалось потихоньку вырваться из этого порочного круга, сам не знаю, как это произошло, но общественные деятели постепенно оставили меня в покое. Видимо, лавры нашего «научного» труда начали забываться, на собраниях я всегда отмалчивался и в отличие от Сереги не выступал с правильными речами.

Шестеренки выплюнули меня из машины за ненадобностью, слегка помятого и уставшего. Выпускные экзамены были не за горами, а за ними – поступление в институт. Серый собирался в МИМО и был уверен, что все дороги перед ним теперь широко открыты. А я собрался в Университет, но учился в другом месте. Это уже совсем не относящаяся к делу история.

Как ни странно, несмотря на идеальную характеристику и золотую медаль, в МИМО что-то не сработало: то ли социальное происхождение подкачало, то ли лапа была недостаточно волосатой. С карьерой дипломата Сергею пришлось распрощаться, и он поступил на исторический факультет МГУ.

10.

Крушение юношеской мечты о дипломатической работе слегка отрезвило моего друга. Но полностью отношения наши так и не восстановились: в студенческие годы мы виделись редко, хотя и жили по соседству. Встречались на днях рождения, зимой иногда вместе катались на лыжах.

На третьем курсе началась война в Афганистане. На четвертом Серега женился. На пятом родил дочку. Он упорно работал на свою будущую партийную карьеру. После университета Сергей собирался в аспирантуру, защитив диссертацию – в аппарат ЦК ВЛКСМ, а со временем планировал перебраться на расположенную по соседству Старую Площадь.

Но тут умер Брежнев. Что-то изменилось в таблице о рангах партийной номенклатуры, и Сереге подсказали, что для успешной карьеры нужно отслужить в армии. Служил старший лейтенант в мотострелковых войсках недалеко от Москвы, и часто приезжал на выходные домой. Жена его родила второго ребенка.

Демобилизовался Серега уже при Черненко и тут же пошел в аспирантуру. Вскоре он ударными темпами защитил диссертацию по «Актуальным вопросам социалистического строительства». Диссертацию, как он рассказывал, он написал еще в армии, во время ночных дежурств.

У власти уже был Горбачев, со скрипом начиналась перестройка. Но Сережкина мечта сбылась – он все-таки попал в аппарат ЦК ВЛКСМ. В те дни я случайно встретил его в метро. Новоиспеченный кандидат исторических наук и сотрудник аппарата младшенького ЦК светился от удовлетворения. Он похлопывал меня по плечу, говорил уверенно и в скором времени собирался получить новую квартиру в кирпичном доме где-то на Соколе.

Увы, квартиру он получить не успел. В скором времени не стало ни комсомола, ни ЦК КПСС.

Более ловкие коллеги по комсомолу в последние месяцы перед коллапсом успели урвать жирные куски. Они курировали кооперативы, какие-то творческие молодежные коллективы, ходили с карманами, полными долларов. Не знаю, что помешало Серому, то ли профессорское происхождение, то ли зациклен он был на аппаратных играх старой эпохи, а может быть просто освоиться не успел. Дельцов он презирал, и остался у разбитого корыта.

Детей надо было чем-то кормить. Тут из мутной водички выплыл дядька из Питера, который успел подсуетиться и раскрутил небольшую фирму по продаже запчастей для автомобилей. И стал Серега заниматься бухгалтерией и учетом в Московском филиале семейного бизнеса.

Мы до сих пор любим друг друга, простив грехи и заблуждения юности.

Несколько лет назад я как от толчка проснулся ночью, вспомнил его телефон и позвонил. Серега поднял трубку. Оказалось, что он до сих пор живет в двухкомнатной квартирке около железной дороги.

Пару месяцев назад я был у него в гостях. Старую пятиэтажку снесли, квартиросъемщикам дали новую квартиру в блочном шестнадцатиэтажном доме. Квартира хорошая, хотя Серега ругает качество и говорит, что через несколько лет дом пойдет трещинами.

Жена его, милая девочка, кандидат бывших исторических наук и специалист по эпохе Возрождения, теперь работает в туристическом агенстве, продает путевки в Турцию и Египет.

Сам Серега продолжает заниматься бухгалтерским учетом за мизерные по нынешним временам деньги. Совместными усилиями супругам удалось скопить на ремонт кухни – хозяйева горды кафельной плиткой, новым холодильником и итальянскими шкафчиками.

Надо сказать, что таких шкафчиков я в Америке не видел, Италия, слоновая кость и что-то еще крутое. Я привык к советским шкафчикам 60-х годов прошлого века, небрежно выкрашенным масляной краской. Они присутствуют в большинстве местных съемных квартир, построенных во времена моего детства.

Серега поседел, циничен, ругает нынешние порядки, казнокрадство и беспредел. Он подарил мне бутылку хорошего Дагестанского коньяка, а я ему – бутылку красного калифорнийского вина.

У Сереги очень хорошие, уже совсем взрослые дети, так что жил он не зря.

11.

Перед отлетом из Москвы я рылся в старом книжном шкафу, когда-то сколоченном из списанных детсадовских ящичков-раздевалок. В этот шкаф, похоже, никто не залезал уже пару десятилетий, из него пахло старой бумагой и затхлостью. Рядом со старыми школьными учебниками я обнаружил ту самую книгу в суперобложке, которую когда-то

дала нам Вера Семеновна для написания школьного реферата. Про эту книжку в начавшейся тогда горячечной суматохе все забыли.

Я улыбнулся и положил томик в чемодан. В голове мелькнула мысль, что вряд ли меня останоят на границе Америки за коммунистическую пропаганду.

Рядом со мной в самолете сидела молодая девушка новой отечественной формации, менеджер чего-то Российского коммерческого. Она летела в гости к знакомому американскому бойфренду – посмотреть на красоты Калифорнии и поиграть на автоматах в Лас Вегасе.

Через пару часов полета мне стало скучно, я достал книжку из сумки и начал перелистывать страницы. Бумага была замечательного качества, мелованная, за прошедшие десятилетия с ней ничего не случилось. Блуждающая улыбка на моем лице вызвала у девушки интерес.

– Интересная книжка? – спросила она.

– Безумно. – Вы в детстве учили стихотворение: «Я помню город Петроград в семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу?»

– Чего? – Девочка мне только что рассказывала про ресторан «Петрович», ломтики селедки, винегрет и черный хлеб.

– Читайте, завидуйте. – Я продемонстрировал ей обложку с бегущими солдатиками и матросами.

– «Рабочее движение в России и Ленинская теория революции» – лицо у моей попутчицы вытянулось, думаю, она решила, что с головой у меня не все в порядке.

– Дело в том, что в юности мы с другом были убежденными марксистами, – вдохновенно сообщил я. – Нас даже называли Маркс и Энгельс. Но вы не волнуйтесь, марксистов из нас не получилось. Иначе бы мы сейчас не летели в Америку.

Картошка

– Товарищи студенты, – страшная Клавдия стояла в центре аудитории, широко расставив свои кривые ноги и сверкая недобрыми орлиными глазами. – Занятия отменяются, наше, – она сделала прочувственную паузу, – Государство . – Клавдия произнесла это слово с придыханием, словно молитву... – Народ! – патетически воскликнула она, – терпит лишения, чтобы вы, пока еще ничего для страны не сделавшие, – голос ее наполнился едкой презрительностью, – могли получить образование.

– Представьте себе, – голос заместителя декана стал возвышенным, – у домны стоит труженик, от страшного жара опалается его кожа, течет расплавленный металл, а он думает: «Ничего, придет новое поколение строителей коммунизма, они, молодые орлы, пока что сидят за партами, изучая законы электрических цепей, но придет время, они расправят крылья и выключат глаза врагам коммунизма во всем мире!»

Произнеся этот бред, Клавдия застыла в наркотическом трансе и в аудитории наступило длительное молчание.

– А мы и сейчас крылья расправим, – раздался чей-то издевательский голос, – только пивка поьем и расправим! – Зал грохнул хохотом.

– Нечего смеяться, – Клавдия вышла из транса. – Короче, хочу Вам сообщить, что наше подведомственное институту колхозное хозяйство не справляется с уборкой рекордного урожая. Народное достояние гниет на корню, заставляя злопыхателей с Запада предсказывать скорый конец Советского государства. Но этого не будет! Наши, советские студенты, оправдают доверие партии и волю народа и помогут труженикам села собрать с полей урожай нынешнего года, решающего года пятилетки.

– А когда едем-то? – нерешительно пробасил кто-то.

– Послезавтра в 8 утра придут автобусы, – Клавдия приободрилась. – И не вздумайте отлынивать, за неявку будем сразу исключать из Института, если, конечно, не будет справки, заверенной подписью врача.

– Ура!!! – громыхнуло в аудитории с такой силой, что Клавдия испуганно закрыла уши руками. Она растерялась. С одной стороны, она должна была приветствовать этот патриотический порыв молодого поколения, с другой стороны, кто, как не она, безжалостно ставила прогулы, не обнаружив студентов на лекциях.

– Программу следующего месяца пройдете ударно! – замешавшись крикнула она. –И, чтобы лекции не прогуливать, родина смотрит на вас! – Клавдия поспешно убралась со сцены.

На следующее утро около института рычала моторами вереница старых, разбитых автобусов марки «ПАЗ», напомнивших мне школьную уборку свеклы.

Тогда мы долго тряслись на электричке, уверенно прокладываящей свой путь на север. У какой-то маленькой станции, поезд наконец остановился, вытряхнув невинных мальчиков и девочек на платформу, где нас ждал воняющий бензином автобус той же марки.

– Ох, вражья сила, – водитель, кажется, мучался похмельем. – И на хрена вы, ребята, туда едете. Гиблое место, ей Богу. Кто там на грядке поработает, так в районную больницу, а потом в могилу.

– Да что вы, – Лидия Григорьевна, недалекая классная руководительница, посланная высшей волей вместе с детьми на подмосковные поля, пугалась. – О чем это вы говорите?

– Да правду говорю, сколько ваших, городских сюда не привозили, так через

несколько часов болеть начинали, а после на грядках падали, и все! Трупика, уж наш участковый врач голову ломал, ломал, а никакого толку не получалось.

Мне стало жутко, я совершенно не хотел умереть на свекольных грядках. Наш восьмой класс был высшим указом РОНО и директора освобожден от занятий только для того, чтобы мы своими руками собрали осенний, загнивающий на полях урожай.

– Вы, товарищ водитель, детей не пугайте, – Лидия Григорьевна в своих нелепых резиновых сапогах прыгнула на поле, погрузившись по щиколотку в осеннюю грязь. – Ребята, за мной! – залихватски скомандовала она.

– Айда, – осеннее солнце и рощица тополей около реки возбуждали молодое воображение, и школьники выкатились наружу, никого и ничего не боясь.

– А сейчас, когда мы в электричке ехали, – Марина, не по возрасту пышная, с высывающимися из-под школьной формы грудями, не могла успокоиться. – Мы в электричке едем, и вдруг такой парень красивый подходит и говорит: «Девушки, куда же это вас несет. Давайте, я вам настоящую жизнь покажу!»

– Ну а ты, а чего ты ответила? – Галя, напоминающая не успевшую вырасти шимпанзе, жадно смотрит в глаза Марине.

– Ну чего, – Марине приятно это внимание окружающих, – Я ему сказала, что школьница еще. А он знаете чего ответил?

– Чего, чего? – Галя подпрыгивает, будто и вправду она обычная цирковая обезьянка.

– А он сказал: «Я думал, что такие девушки уже давно школу закончили, вам уже по крайней мере лет двадцать!» – Марина, гордая своими пышными формами замолкает.

– Ну хватил, – Галя напротив может быть принята за недоростка из пятого класса. – Скажет тоже, жениться-то хотя бы не обещал?

– Нет, – Марина разочарована.

– Забудь его, трепача! – Галя довольна собой. – А может он какой маньяк или убийца был?

– Ну ты, скажешь тоже! – Марина обижается.

– Да черт с ним, Маринка, смотри грядки какие! – Галя выпрыгивает из автобуса на зеленое поле, с наслаждением ощупывая свекольную ботву.

– Бабы, – с пренебрежением говорю я. В моей сумке запасены купленные вчера бутылка «Солнцедара», и две пачки сигарет «Стюардесса». – Пошли, ребята.

– Погоди, – Алексей изучает затерявшиеся среди травы железные обломки, – ты посмотри, что делается. Мотор-то «General Electric», 1948 года выпуска. – Вот это да, как он только сюда попал?

– Да неважно, – ржавый американский мотор меня совершенно не интересует. Хочется распить припрятанную в рюкзаке бутылку, ощутив радость сиюминутного освобождения от гнусной действительности, сесть на берегу этой подмосковной речки и закурить сигарету, забыв на мгновение о том, что ждет нас в городе. Это поле прекрасно, у реки колышутся высокие тополя, и пусть этот день никогда не кончается...

– Ребята, быстрее, свеклу до вечера надо всю убрать! – Лидия Григорьевна тщетно пытается пробудить в школьниках энтузиазм.

Леночка, моя школьная любовь, старательно работает на соседней грядке, выдирая созревшую свеклу из земли. Около огромных лиловых клубней пищат мыши, нашедшие свое прибежище на этом колхозном поле, и Леночка взвизгивает, бросая вырванную ботву обратно на грядку.

– Ну, как не стыдно, они же безобидные, маленькие, – мыши уже удрали, и я поднимаю свекольный клубень, отряхивая с него землю.

– Спасибо, – она смущена и мила.

– Не за что, – я с важным видом склоняюсь над своей грядкой.
– Саня! – Алексей с Мишкой с таинственным видом машут мне издалека.
– Иду! – Леночка забыта, я отбрасываю в сторону грязную корзину и направляюсь к тополиной рощице, раскинувшейся около излучины реки.
– Ну, давай! – Алексей решительно откупоривает бутылку сухого вина.
– Вперед, ребята! – Миша щурится. Через несколько лет он будет арестован за антисоветскую деятельность и навсегда исчезнет с нашего горизонта, но пока он этого не знает.
– Хорошо пошло, – Алексей проглатывает светлое содержимое стакана и морщится. – На шотландский виски не похоже, конечно, но все же...
– Давайте закурим, – Я достаю из кармана пачку «Стюардессы».
– Отличная идея, – мы затягиваемся кислым дымом болгарских сигарет.
– Анекдот знаешь? – Алексей стряхивает пепел. – Хотите «Стюардессу»? – Спасибо, у меня «Опал».
– Алексей! Саша! Миша! Куда же вы запропалились? – Истерический голос классной руководительницы доносится с поля.
– Вот зараза, – Алексей сплевывает на заросший травой речной берег. – Спихватилась все-таки.
– Лидия Георгиевна! – честным голосом кричу я. – Мы здесь, у реки заблудились!
– Саша, – учительница, кажется, рада тому, что мы нашли. – Скорее сюда, свеклу собирать!
– Ну вот, прощай свобода, – Алексей морщится.

Школьники ползут по грядкам, наполняя свеклой плетеные корзины. Вечером приезжает пьяный шофер «Пазика», с иронией окидывающий взглядом усталых детей.
– Ну чего, все живы остались? – Он доволен своей шуткой. – За десять лет впервые такая школа попала. Какая школа-то у вас?
– Пятьсот-тридцать-четвертая, – хором отвечают дети.
– Ну хорошо, – смеется он, – запомню. – Молодцы, Москвичи, хорошо поработали. А теперь, домой, к мамкам и папкам, мы славно поработали и славно отдохнем, – сам того не зная, он цитировал Высоцкого.

Усталые, мы едем в Москву, выпрыгивая из раскрытых дверей электрички словно военный десант. Сумерки опускаются на город, и мы бредем к своим домам, мечтая о том, что скоро можно будет принять душ и лечь в постель.
На этот раз поездка в колхоз была гораздо более длительной. Студенты, готовясь к неделям колхозной жизни, несли объемистые рюкзаки. Автобусы выпускали облачки сизого дыма. В рюкзаке у меня ничего кроме теплых вещей и белья не было, распивать болгарское вино со своими сокурсниками мне не хотелось.

– Товарищи студенты! Посадка в автобусы по группам. В темпе, в темпе, – высокий мужик с черным пробором, начальник картошки, почему-то называемый отвратительным словом «комиссар отряда», кричал в мегафон. – Подтянись, времени нет!

Автобусы рыча отъезжали от институтского здания, прокладывая свой путь среди трясущихся грузовиков и городских трамваев. День был осенний, солнечный, мы переехали через Москву-реку и потащились по забитой машинами набережной. В кабине сильно пахло бензином и подгорающим машинным маслом.

Ехали долго, студенты пытались затянуть песни, от которых мне становилось противно. «Катится, катится голубой вагон,» – затягивали неандертальские ротыки деревенских девочек, сопровождаемые хриплым южным басом Ильи Неподенко,

приехавшего в Москву из маленького украинского городка и каким-то чудом принятого в столичный институт.

Если бы не Леня, я бы наверное тогда умер с тоски. Худощавый, он бросил рюкзак на пол, скептически провожая глазами уплывающие за окном автобуса гранитные набережные и мосты.

– Неумолимая, жуткая сила вдавила нас в текущую историческую эпоху. Все мы попали под колесо истории! – Лекции по историческому материализму произвели странную трансформацию с незрелым юношеским мозгом, и Леня с тех пор выражался напыщенно и непонятно, фонтанируя цитатами из классиков. – Как нам реорганизовать рабкрин? – Он глубокомысленно замолчал. – Если задуматься, то все это просто шаг вперед, два шага назад.

– Ты ничего не понимаешь, – мне стало ужасно смешно, так что слезы потекли из глаз. – Главное, это захватить почту, телеграф, и отразить в себе зеркало русской революции.

– А? Ты чего сказал? – Сам того не ожидая, я вывел Леню из прострации.

– А анекдот знаешь? – Я подвинулся поближе к нему, и, оглянувшись на захваченных песней сокурских, заговорил вполголоса. – Владимир Ильич читает статьи своих оппонентов, а потом и говорит Крупской: «Наденька, обещай мне, что когда я умру, мой половой член похоронят отдельно от меня.» – «Да что ты, Володенька», – пугается Надежда Константиновна, – «что это ты за страсти такие говоришь, с чего вдруг?» – «Ну как же», – торжествующе отвечает Ленин, – «Мартов прочтет в газете мой некролог и скажет: »Ленин умер, и хуй с ним«. И опять будет неправ!». – Последнюю фразу я старательно произношу картавым голосом и Леня корчится от смеха, теперь из его глаз текут слезы, и он не может успокоиться до тех пор, пока автобус не пересекает окружную дорогу, и город, ошетилившийся корпусами многоэтажек, начинает исчезать за рошицами и приходящими в упадок деревеньками.

На протяжении своей жизни мне довелось отправляться на уборку урожая не менее десятка раз. В далеком будущем научные сотрудники погрузились в разбитый микроавтобус, везущий их по Кутузовскому проспекту на юг. Тогда все было по-другому, компания собралась приятная, в наших сумках позвякивали бутылки водки и пива, и ученые мужи весело начали пить прямо в машине. Мы остановились около серого дома, в котором жил Брежнев, внизу располагался большой овощной магазин.

– Сейчас, ребята, – Лариса с Танечкой выбежали в подворотню, вернувшись через несколько минут с сетками, набитыми красным болгарским перцем и помидорами. – Должна же закуска какая-нибудь быть, – весело шутили они.

– Ребята, – беспокоился Вася, по отчеству Иванович, все его так и звали, Василий Иванович, что вызывало ассоциации с бесконечными анекдотами про Чапаева. – Не налегайте так, ну что вы, честное слово, не останется же ничего.

Василий Иванович только что вернулся из Англии, в которой он провел на стажировке полгода, и еще не до конца погрузился обратно в советскую действительность.

– Да остановите же автобус на минутку, мочи больше нет терпеть, – аспиранта Юрку наконец прорвало. Он был еще большой и здоровый, через двенадцать лет его, мучающегося болезнью почек, по непонятной причине выкинут из окна больницы, с четвертого этажа, он переломает позвоночник и навсегда останется парализованным.

– Сейчас, сейчас, – мрачный институтский водитель подрулил к обочине. – И бросайте пить, мужики, а то не дай Бог ГАИ остановит!

Юрка исчез в рошице, его долго не было, и все уже начали волноваться, как он появился в придорожных кустах, торжествующе неся перед собой огромный белый гриб.

– Во сила! – Он был уже порядочно пьян. – Прямо у дороги растет, ребята, пошли

рощицу прочешем, на ужин белых грибов наберем.

– Мне на базу возвращаться, – водитель начал нервничать. – Какая там рощица, вы чего с ума посходили?

– Да ладно, поехали, – пожилой профессор Покровский усмехнулся. – Грибы в колхозе собирать будем.

Уже на подъездах к подшефной деревне небо сделалось черным, и неожиданно из него пошел снег.

– Ух ты, вражья сила, – выругался Василий Иванович. – Еще не хватало из-под снега народное достояние выковыривать.

Снег не прекращался, мокрый, он уже покрывал подходы к дому, в который сотрудники перетаскивали из фургона позвякивающие бутылками сумки. Микроавтобус уехал, на улице стало темно, завыл ветер и неожиданно погас свет.

– Это тебе, Василий Иванович, не в Кембридже заседать, – смеялся Покровский. – Тут Россия-мать, смотри темнота какая. Вот она, первозданная природа! – Научные работники наощупь бродили в доме, стучаясь об углы шкафов. Было слышно, как крысы попискивают за перекрытиями.

– Сейчас плешку сделаем, – Василий Иванович не растерялся, – фитилек бы найти. – Он соорудил странное подобие светильника, налив в стакан масла, и импровизированная лампадка осветила неровным, мерцающим светом деревянный стол.

– Ну, мужики, живем! – Воодушевленные, мы выгрузили на стол запасы спиртного, захваченную из дома колбасу и купленный по пути болгарский перец. На улице все так же завывал ветер, но в доме стало уютно.

– Ну что, Василий Иванович, адаптируешься помаленьку? – Издеваться над Васей, похоже, становилось доброй традицией.

– Да чего вы ко мне пристали? – Вася начинал обижаться. – Давайте лучше выпьем.

Света лампадки едва хватало на то, чтобы выхватить из тьмы середину стола, все остальное терялось в темноте. Это придавало нашему застолью несколько мистический оттенок.

– Саня, – Валерий Иванович, родившийся где-то в лагерях, обращался ко мне из черного пространства комнаты. – Рыбу ловить пойдём?

Он был заядлым рыболовом и все возвращающиеся из заграницы научные сотрудники обязательно привозили ему хитроумные крючки и импортные лески. Я знал, что в эту поездку он захватил с собой несколько удочек и надувную резиновую лодку.

– А как же, – Я откликнулся на голос, пытаюсь взглянуть в кромешную тьму.

– Здесь в заливе обязательно щука должна водиться, я как чувствую, там еще кустики такие, помнишь мы их проезжали? – Его глуховатый голос раздавался из темного угла, вызывая ассоциации с загробной жизнью.

– Спички, спички тянем, кому за молоком идти! – Неожиданно у меня в руке спичка оказалась обломанной.

– Так, Саня, Ромка, завтра в семь утра берете бидон и за молоком! – профессор Покровский, на секунду выхваченный из темноты тусклым светом лампадки, закусывал долькой розового маринованого чеснока. – Только осторожно, там ямы огромные, в прошлом году в них корова утонула.

– И по-грибы обязательно сходить надо, – Юрка, вдохновленный своей находкой около дороги, не мог успокоиться. Он на секунду появился около лампадки и снова исчез.

– Сходим, сходим, здесь за просекой такой лесок есть, там грибов видимо-невидимо, – Валерий Иванович заскрипел стулом. – Если бы этих колхозов не было, их

обязательно надо было бы придумать! Спасибо нашей партии, правительству и районному отделу народных депутатов.

– Ура! – гроыхнуло в комнате.

– Ну, еще по одной? Девочки, вы как? – Покровский разливал водку по стаканам.

Все происходящее казалось какой-то тайной вечерей, собранием духов, заблудившихся в кромешной тьме. Я любил этих людей, никогда в жизни мне больше не доведется работать в такой компании. Покровский недавно получил престижную премию Европейского физического общества за свои исследования. Через двенадцать лет он будет торговать на рынке бананами, на вырученные деньги покупая жидкий гелий для своих экспериментов, пытаясь наперекор всему заниматься любимым делом. Однажды вечером его насмерть собьет машина, управляемая пьяным бандюгой, но до этого еще далеко, и мы, словно выхваченные на мгновение из тьмы времен, наслаждаемся застольем...

Тем давним, солнечным, осенним днем, когда вереница автобусов везла студентов в колхоз, я задумывался о странностях жизни человека в различных социальных системах. Еще вчера все мы сидели в аудиториях, и достаточно было распоряжения какого-нибудь мужика в сером костюме из райкома партии, как огромный механизм государственной власти начал проворачиваться. Вначале телефонный звонок раздался в кабинете ректора, тот позвонил деканам факультетов, они провели совещание, назначив высокого мужика с черным пробором комиссаром отряда. В этой странной цепочке были задействованы еще множество людей: районная автобаза, выделившая автобусы, администрация опустевших пионерских лагерей, в которые нас везли, деревенские бабульки, подготавливавшие сотни комплектов постельного белья, наконец работники кухни, которым предстояло в течение ближайшего месяца кормить прожорливую студенческую толпу. Пирамида власти уходила куда-то вверх, вначале в райкомы, потом в городской комитет партии и в Моссовет, оттуда невидимые ниточки тянулись в Центральный Комитет, и, наконец, все сходилось в Кремлевских залах, в которых уже давно выжившие из ума, с трудом передвигающие ноги старики вершили судьбами огромной страны.

Наконец, автобусы подкатили к заброшенному пионерскому лагерю. Летом здесь дрессировали подрастающее поколение, на большой цементированной площадке, напоминающей армейский плац, торчала высокая металлическая труба с железной струной, на которой утром поднимали красный флаг. Площадка была огорожена выцветшими плакатами, изображавшими советских воинов в касках, красные знамена, Ленина в кепке и пионеров с горнами, задранных головы к небесам.

– Отряд, построиться! – Комиссар отряда рычал в мегафон, пренебрежительно окидывая взглядом разношерстную толпу, вывалившуюся из автобусов. – Значит так, товарищи студенты, ознакамливаю вас с правилами внутреннего распорядка. – Подъем в семь утра, отбой в десять. Ежели кто после отбоя замечен на территории, дело будет иметь со мной. За употребление спиртного немедленно отчисляем из института, безо всяких разговоров. Повторяю, мне даны чрезвычайные полномочия: чего бы вы не делали, как бы не просили, из института вылетите в ту же секунду, так что даже и не пробуйте! Курить в палатах запрещается, курилка около столовой, там ведро с водой стоит, окурки туда кидать будете. Баня по расписанию, два раза в неделю. Завтрак в семь пятнадцать, в семь тридцать пять построение на линейку. В каждой палате будет назначен старший, он обязан перед выходом в поле давать отчет о личном составе. Ужин в восемь часов, обед вам будут привозить на поле. В девять сорок пять построение и проверка наличия личного состава. За неявку на построение строгий выговор, за повторную неявку отчисление из института. В половину одиннадцатого вечера отбой!

Работать будем на уборке картофеля. Все понятно?

– Понятно... – пролетело по рядам.

– А сейчас полчаса на обустройство, затем сбор и на поля. Урожай не ждет!

– Вот влипши! – Леня с тоской посмотрел на меня. – Как в армии, туда не ходи, этого не смей.

В комнатке, отведенной нашему курсу, стояло десятка два никелированных кроватей с прелыми матрасами. Около их изголовья торчали деревянные тумбочки, выкрашенные белой масляной краской. Я засунул рюкзак под кровать, вытащив из него резиновые сапоги.

– Ох, мать вашу, – Леня попытался расстелить влажную, слежавшуюся простыню и в отвращении застыл, разглядывая огромное желтое пятно, расплывающееся посередине.

– Это пионерку кто-то душевно трахнул, – Сашка, весельчак, поступивший в институт после двух с половиной лет, проведенных в советской армии, видал и не такое. – Вожатый ее прижал и тю-тю. Приехала пионеркой, а уехала советской женщиной!

– И что, я теперь спать на этом буду? – Леня растерянно смотрел на простыню.

– Иди обменяй, тоже мне трагедия, – Сашка по-военному аккуратно застелил кровать, разгладив старое шерстяное одеяло.

– Угу, – Леня засунул простыню под мышку и вышел из домика.

– Эх, а у пионеров политработа на высоте была, – Сашка начал с интересом оглядывать висевшие на стене плакаты. Один из них, во всю стену, был покрыт черно-белыми фотографиями членов Политбюро. Строгие старцы, морщинистые щеки которых были отретушированы неизвестным художником и выглядели на фотографиях неестественно гладкими, неподвижным взглядом реяли над никелированными кроватями.

– Пятнадцать, Шестнадцать... – считал Сашка фотографии высокопоставленных стариков. – Двадцать один... Очко! Санек, в карты режешься?

– Чуть-чуть, я вообще-то почти не умею.

– Ничего, мы тебя в преферанс научим играть, не грусти. – После долгих армейских лет, происходящее казалось Сашке курортом.

Я с интересом посмотрел на плакат, висевший около моего изголовья. Он изображал ощетинившуюся оружием скалу. Тут и там из маленьких окошечек этой скалы выглядывали страшного вида пушки, штыки винтовок, кое-где видны были танки, а над скалой, словно мошकारа, повисшая летом над лесной тропинкой, реяла стайка самолетов с красными звездами. Внизу было написано: «СССР – неприступная крепость социализма». Надпись была выполнена красным цветом, шрифтом старых выпусков газеты «Правда».

– На переключку, – в дверях появился аспирант Семечкин, один из заместителей комиссара отряда.

– Ленька где? – исчезнувший приятель с изгаженной простыней еще не появился.

– Не волнуйся ты, – Сашка махнул рукой. – Обменяет простыню и вернется.

– Доложить о личном составе! – Сашку, как человека армейского, назначили старшим по комнате.

– Товарищ комиссар отряда, все в сборе, кроме студента Садовского.

– Это что еще за безобразие?

– Товарищ комиссар отряда, – Сашка вытянулся, словно вот-вот отдаст честь, – простыня у него была испорченная, он в хозяйственную часть обменять пошел.

– Я, кажется, русским языком сказал всего полчаса назад! – комиссар начинал звереть. – Никаких оправданий я не потреплю. Студенту Садовскому строгий выговор, и

в институтскую характеристику этот выговор тоже пойдет. Вторая неявка на переключку, и немедленно будет отчислен!

– Дурак нам попался, мать его, – Сашка расстроено бормочет. – У меня в армии сержант, и тот лучше был.

– Да вот он с простыней идет, – и вправду, испуганный Леня бежал к нам.

– Беги скорей, где же тебя носит! – Сашка помахал ему рукой.

– Да дура эта, которая простыни выдает, ушла куда-то, – Леня запыхался от бега.

– Ну ладно, давай в темпе, а то сейчас уже на поле выходим...

Идти до поля пришлось довольно далеко по грунтовой дороге. Солнце разогрело землю, в траве жужжали шмели, и казалось, что в подмосковье вернулось жаркое лето.

– Значит так, – комиссар никак не мог расстаться со своим мегафоном. – Разбиваетесь на пары. Каждая двойка студентов берет на себя одну грядку.

Я с тоской посмотрел на поле, грядки эти протянулись по крайней мере на два километра. Хотелось пить, разогретая земля и жужжание насекомых вызвали желание лечь на спину, зажав травинку в зубах и смотреть на редкие облачка, плывущие по голубому небу. «Вместо сильных мира этого и слабых, лишь согласное жужжанье насекомых», – вспомнил я.

– Картошку в корзины насыпаете, потом в мешки. Мешки вдоль грядок будете ставить. Их потом машина соберет колхозная. И от работы не отлынивать. На каждой грядке будет командир, он вас как следует проверит. Все понятно? Это вам не бином Ньютона. Разошлись! – голос комиссара, усиленный мегафоном, переливался металлическими обертонами.

Мы ползли с Леной вдоль выделенной нам грядки. Картошка была мелкая, и уже порядочно подгнившая. Видимо недавно шли дожди, и клубни были покрыты мокрой глиной. Через полчаса заныла спина, и нелепость происходящего одинаково завладела мной и моим напарником.

– А в Америке сейчас студенты сидят в каком-нибудь застекленном кафе, смотрят на небоскребы и пьют холодное пиво... – Я дразнился, с садистским удовольствием наблюдая, как Леня делает глотательные движения, представляя себе, как густая пена переливается через край высокого стакана. – И им выговоры с занесением за изгаженную простыню никто не дает, пусть только попробуют, они сразу же в суд подадут...

– Разговорчики, – начальник грядки, парень со старшего курса, которого я никогда раньше не видел, появился перед нами, расставив ноги в резиновых сапогах. У него было дегенеративное тупое лицо, изъеденное оспинами, наверняка он был неуспевающим двоечником, и теперь, наконец, мог отомстить за унижения, доставленные ему изворотливыми лекторами в ненавистных аудиториях. На этой грядке он явно чувствовал себя в своей тарелке.

– Вы чего, приказа не слышали? – Парень зло скривился. – Это что за говно у вас в корзине, я вас спрашиваю! – он пнул сапогом наполовину заполненную мокрой картошкой корзинку, она опрокинулась, и плоды нашего труда рассыпались.

– А чего тебе не нравится? – Леня испуганно посмотрел на широкие плечи начальника грядки.

– Кто так картошку собирает? Как фамилия? – парень достал из кармана зеленых брезентовых штанов маленький обтрепанный блокнотик и карандаш. – Вы чего думаете, от ответственности уйдете? Хрена!

– А чего? – я испуганно поглядел на рассыпанные вокруг клубни.

– А землю надо аккуратно счищать, и потом, вы много картошки в земле

оставляете, – в доказательство он отошел назад на несколько шагов и ковырнул сапогом землю.

Найти пропущенную картошку ему не удалось, он разозлился, и начал ожесточенно бить ногой по грядке, пока не нашел крохотный, размером с наперсток клубень, покрытый мокрой глиной.

– Ага! – глаза его горели ненавистью. – А ну-ка к самому началу грядки, и по второму разу все собрать! А про вашу работу я вечером на переключке доложу... – Он еще раз сердито взглянул на нас и пошел воспитывать работавших на соседней грядке.

– Слушай, Леня, он чего, больной что-ли? – Я был поражен ненавистью, с которой наш надсмотрщик распоряжался своими подчиненными.

– А хрен его знает, вот занесло, мать их так. Надо было больным сказать и справку у врача взять. У меня участковый врач знакомый, наверняка бы дал.

– Ну что теперь, – я пожал плечами. – Пошли по второму разу грядку собирать, раз этому мудиле так хочется.

Второй проход грядки не принес желаемых результатов, мы долго копались в земле под ненавидящими взглядами изъеденного оспой парня, но с трудом набрали четверть корзины. В результате, к вечеру мы намного отстали от остальных, не собрав даже половины километровой гряды. Солнце уже садилось, спина не разгибалась, и я проклинал свою судьбу.

– Ну что? – Комиссар отряда бродил по полю со своим любимым мегафоном. – Вот, обратите внимание, все уже работу закончили кроме этих бездельников. Вот девушки досрочно закончили, почти сто мешков собрали, а эти, – он презрительно посмотрел на нас, – сколько мешков собрано? – Он обращался к тому же гнусному парню.

– Сейчас, – тот достал из кармана блокнотик. – Сорок восемь.

– Значит так, – комиссар усмехнулся, прижав к зубам мегафон – Пока поле не уберем, домой не пойдем. Так что посмотрите хорошенько на тех, кто вас задерживает! Посмотрите на этих городских белоручек, один из них сегодня днем на переключку не явился, какая-то закономерность во всем этом прослеживается. Ну, что делать будем? Ждать, пока они грядку закончат, или научим их, как надо работать?

– Сволочь, – прошипел Леня. – Влипли мы с тобой!

– Да чего их ждать? – боевито выкрикнула разгоряченная уборкой девушка из соседней группы. Мы сейчас всем отрядом навалимся и грядку приберем!

– Ну давайте, ребятки, чтобы этим паразитам стыдно было.

Стыдно мне не было, я просто начинал ненавидеть свою жизнь, советский строй, институт, одновременно задумываясь о том, как органично эти деревенские девчонки подходят для уборки прогнившей картошки. Как ни странно, им эта бессмысленная процедура нравилась, их согнутые спины и широко расставленные ноги заставляли приливать кровь к лицу. Куда подевались бледные, испуганные глазки, бегающие в надежде найти шпаргалку на экзамене, и не понимающие решительно ни одного слова грустного лектора, пытающегося вдолбить в пустые головы основы наук...

Грядка наша была ударно закончена силами сплоченного коллектива, кидающего на нас недружелюбные взгляды, и на поле приехал разбитый сельский грузовик.

– Мужчины, на погрузку, – проревел в мегафон комиссар. – Девушки могут отдыхать!

Мы шли за буксующим грузовиком, переваливая через борта влажные от грязи мешки. Шофер был кажется пьян, во всяком случае он все время норовил съехать куда-то в сторону и, наконец остановился, и, вытаращив глаза, вылез из кабины.

– Ох, твою мать, – сказал он, заводя глаза. – И на хер вы эту картошку собираете? Все равно в хранилище сгноят, у нас вентиляция уже три года назад сломалась, ее как

завезут, так она и гниет, потом по весне сусло получается вонючее. Уж председателю мы жаловались, она баба у нас, герой труда! – Он уважительно покачал перед собой указательным пальцем. – В Кремле заседает, сучка... – Водитель снова напрягся, пытаясь сфокусировать перед собой расплывающееся пространство. – Ну ладно, – он поднялся и вытащил откуда-то из-под кожаного сиденья наполовину выпитую бутылку водки и грязный граненый стакан. – Пойдет? – Он вопросительно смотрел на нас, замерших в недоумении.

– Не надо тебе пить сейчас, – Леня неожиданно проникся происходящим. – Ты чего, мы все весь день вкалывали, заводи мотор, да в хранилище уезжай!

– Да пошел ты! – водитель налил стакан. – Ну, пойдет?

– Нет, не пойдет, – зло сказал Леня.

– Пойдет! – уверенно заявил мужик, проглатывая содержимое стакана. – Уй, ё-мое, не пошло, – судороги сломили его и водка, мутным потоком смешавшись с содержимым его желудка, вышла наружу, жадно впитываясь в сырые комья земли. – Отойди, городские, раздавлю, мать вашу так, – он покачиваясь сел за руль, и виляя уехал.

– Уходим в лагерь, построиться в колонны, – комиссар отряда был полон осознания собственной значимости. – Скоро ужинать будем, бойцы. Спеть песню хотите?

– Хотим, – залихватски ответили девушки.

– Слушай, – Леня, страдальчески скривившись, смотрел на меня. – А может в Америку удерем?

– Ты чего, с ума сошел? – Прошедший день изменил меня, я начинал ненавидеть большинство своих сокурсников, с грустью вспоминая Колю, Игоря, Яну, Вику, Инну, Беллу, нормальный мир, существующий где-то совсем недалеко от этого поля, мир, в котором люди, живущие вокруг меня понимают, что к чему, и никогда не согласятся петь бездарные песни хором.

– Ну вы, – Люба с красными щеками пренебрежительно смотрит на нас. – Вы нам всю статистику изгадили! Соседний поток норму выполнил ударно, а из-за вас мы на третье место в соревновании сошли.

– Мы не виноваты, – я пытаюсь спасти положение, – нам идиот какой-то попался, заставил всю грядку с самого начала по второму разу проходить.

– Не оправдывайся, – Люба полна презрения и классовой ненависти. – Почему-то никого из нас не трогали, только Сашу с Леной обидели, маменькиных сынков!

– Ну знаешь, – я начинаю злиться, – а кто тебе на экзамене помогал? Кто лабораторки давал переписывать, дура!

– Ну да, вспомнил, – лицо ее снова загорается красным огнем ненависти. – Сейчас жизнь другая, ты мне контрольные не вспоминай. Короче, если завтра наш отряд снова подведете, с вами по-другому разговаривать будут. У нас есть ребята знакомые, с четвертого курса, они вас так отделают, что мама родная не узнает! – Довольная собой она уходит.

– Слушай, – лицо Лени становится белым. – Я тебе клянусь, если я когда-нибудь удеру из этой проклятой страны, я тебе помогу!

– Я тебе тоже! – мыжимаем руки.

Становится темно, и мы наконец добредаем до пионерского лагеря. В столовой на раздаче стоит толстая бабка в грязном фартуке, она вываливает на алюминиевые тарелки густую манную кашу с жидким озерцом машинного масла посередине. Есть не хочется, ужасно болит спина, и мы, с трудом добравшись до коек, отваливаемся.

– Эй, чего разлеглись, на перекличку пора! – Сашка тормозит нас. – Вам чего, неприятностей вам на собственную задницу мало, что-ли?

– Идем, идем, – я с трудом напяливаю сапоги и слушаю, как мегафон ревет на площади, подводя итоги первого трудового дня. Мне хочется домой, и я с тоской понимаю, что еще по крайней мере недели три мне суждено сгибаться над грядками, утром и вечером слыша этот ненавистный, искаженный мегафоном металлический голос комиссара.

На следующее утро начинает идти мелкий осенний дождик. Небо застелено низкими серыми тучами, от земли поднимается пар, грунтовую дорогу мгновенно размывает и мы месим грязь, с трудом вытаскивая из липкой глины сапоги. Под дождем уборка картофеля превращается в мучение, старые мешки пахнут плесенью, подгнившая, мокрая картошка, облепленная землей, становится тяжелой и наполненные мешки невозможно оторвать от земли.

Дорога к полю проходит мимо наполовину засохшего ручейка, у его берегов стоят голые, изогнутые деревья, покрытые бугристыми налетами. Такой пейзаж вызывает в памяти страшные сказки, кажется, что в этом гиблом месте поселилась нечистая сила. Поле спускается к небольшому болотцу вниз от маленькой, заброшенной деревушки, в которой давно уже никто не живет. За болотцем начинаются холмистые перелески. Над развалинами домов возвышается старая кирпичная колокольня, почему-то построенная в слегка готическом стиле. Уходящий вверх шпиль неожиданно увенчан подобием луковицы, над которым скривилась погнутая железная балка, когда-то заканчивавшаяся крестом. Окна в церквушке выбиты, мрачная, она возвышается над колхозным полем.

Днем облака рассеиваются, и между ними выглядывает солнце, а на горизонте между перелесков появляется радуга. Мои рукавицы пропитаны грязной холодной жижей, костяшки пальцев распухают и начинают неметь. Я с испугом думаю о том, что если дождь продлится еще несколько дней, я больше никогда не смогу играть на пианино. Наконец, деревенский трактор привозит обед: рис с тертой морковью, жесткими обрезками мяса, и чуть скисший компот. Компот я с отвращением выплевываю, и бреду к заброшенной церкви. Около нее растут старые деревья, на них качаются зеленые яблоки, на некоторых из которых виднеются красноватые прожилки. Я срываю одно из них, инстинктивно приготовившись к тому, что сейчас мой рот сведет терпкой горечью, но яблоко пропитано ароматом мокрой травы, меда, свежести, я никогда не думал, что этот незрелый плод может быть так вкусен.

Вход в церковь завален ржавыми железками, я с трудом пробираюсь через остатки комбайна, и наконец оказываюсь внутри. Свет пробивается через разбитые окна, пахнет засохшими человеческими испражнениями. Птица, испуганная моим появлением, бьет крыльями и срывается с перекрытия, улетая через окно. Я поднимаю глаза вверх и вздрагиваю от строгого лика Христа, потемневшего, но еще вполне различимого. Вокруг его головы разливается золотой диск, его черные, миндальные глаза смотрят с болью со стены на пробивающийся сквозь каменный пол бурьян, на серые высохшие кучки кала, на желтые обрывки газет, сваленные в углу.

Осеннее солнце неожиданно пробивается через окно, просвечивая в застоявшемся пыльном воздухе светлый, колеблющийся луч, падающий на лицо сына Божьего. Неведомый мастер, расписавший эту церквушку был талантлив, Христос удивительно земной и живой, его одежда объемна, а поднятый палец замер, это движение удивительно точно схвачено. Кажется, что грустный Бог вот-вот опустит руку, со скорбью глядя на дела рук человеческих.

– Подъем, – доносится с улицы глухой металлический голос, усиленный мегафоном. – обеденный перерыв закончился, приступаем к работе!

Солнце, ненадолго выглянувшее во время обеда, снова скрывается за сизыми тучами, дождь усиливается, моя куртка промокла, и мы с Ленею, чертыхаясь, грязные по пояс, наполняем картошкой все новые мешки. Темнеть начинает рано, и на поле, с трудом

продираясь сквозь размокшую землю, появляется трактор с прицепом. За его рулем сидит все тот же колхозный мужик. Он в доску пьяный и грубо матерится.

– Погружай! – командует комиссар, – размокшие мешки изрядно потяжелели, и мы с трудом переваливаем их через деревянные борта прицепа.

– А кто в хранилище это говно сгружать будет? – рыгает водитель. – Я уже сегодня наработался, мать вашу. Выделяй грузчиков, командир!

– Авдеенко, Горшков, – на погрузку, – командует комиссар.

Трактор ревет, проворачиваясь огромными колесами, и тащит забитый картошкой прицеп за собой. В прицепе поверх картошки сидят промокшие под дождем грузчики, посланные начальством на разгрузочные работы.

– Куда едешь, мать твою так, – в отчаянии кричит комиссар, но уже поздно. Трактор зависает над обрывом, неумолимо наклоняясь, и затем неспешно, словно в замедленной киносъемке, заваливается на бок, сползая в болотце.

– Сволочь пьяная, – Горшков успевает спрыгнуть на землю, измазавшись в земле, но Гришки Авдеенко не видно. Прицеп перевернулся, трактор тоже, и рассыпанная картошка покрывает толстым слоем землю.

– Авдеенко где? – кричит комиссар.

– В кузове он был, – Горшков дрожит от страха.

– Мужики, скорее, – мы, перепуганные до смерти, наваливаемся на деревянный бок прицепа, раскачивая его и пытаемся приподнять.

– От трактора отцепляй, – Сашка прыгает на металлические конструкции, поддевая заржавевший крюк. Прицеп поддается и переворачивается и мы с ужасом видим Гришку, лежащего со странно повернутой на бок головой. Из уголков его рта течет кровь, и рука неестественно откинута в сторону.

– Осторожно! – Сашка, скользя на мокрой, грязной картошке подбирается к нему. – Шею свернул, кажется, мать вашу! Деревня далеко? Его в больницу надо.

Комиссар растерян, он даже выронил свой металлический мегафон, руки у него дрожат, то ли ему жаль парня, то ли он боится получить выговор по партийной линии.

– Черт, не дышит. – Сашка прислоняется к губам Авдеенко и с отчаянием смотрит на нас. – Суки проклятые, ну что, зачем парня угробили?

– Студент Горшков, что вы себе позволяете? – комиссар начинает приходить в себя. – Налицо несчастный случай.

– Да пошел ты, мудака, – Сашка плачет.

– Ты выражения выбирай, сопляк! – комиссар сжимает кулаки.

– Ты что, сука, думаешь я тебя боюсь? – Сашка встает и идет вперед. – Да я в армии не таких как ты видел, да плевать я на вас всех хотел! Ты думаешь, мне ваш гавеный институт так уж и нужен? – Он уже в истерике, покрасневший и трясущийся от ярости. – Ну что, доигрались? Собрали урожайчик, мать вашу!

– А с водителем–то чего? – робко спрашивает какая-то девочка. Студенты в ужасе застыли, многие из них впервые видят перед собой смерть.

– Ух ты, мать твою, – Сашка кидается к перевернутому трактору, распахивая дверцу. Оттуда вываливается водитель, он стонет, лоб у него разбит, но судя по тому, что он пытается привстать, ничего серьезного с ним не произошло.

– Ну что, сука! Доигрался? – Сашка размахивается и наотмашь бьет его кулаком в лицо, разбивая нос.

– Уууу, – водитель совершенно пьян и пытается отплести в сторону, уже ничего не соображая.

– Человека угробил, сволочь! – Сашка звереет.

– Уберите этого десантника, черт возьми! – Комиссар кидается вперед со своими помощниками, заламывая Сашке руки.

– Ненавижу! – кричит Сашка, размазывая грязь по лицу, его оттаскивают в сторону.

– Милицию и врача вызвать надо, – комиссар мрачен, происшедшее не входило в его планы.

– Сейчас уже автобус из колхоза приехать должен. – Аспирант Семечкин испуган. – Надо бы его отсюда вынести, – он со страхом смотрит на вывернутую шею Авдеенко.

– Не трожь, пусть милиция разбирается, а то потом не докажем ничего.

Милицейский УАЗик с мигалкой застревает на поле, и мрачный лейтенант, по колени измазавшийся в грязи, записывает свидетельские показания. У лейтенанта простое, скуластое деревенское лицо. Идет холодный дождь, милиционер накинул брезентовый плащ. Застывшая фигура Гриши Авдеенко все так же безжизненно лежит посреди рассыпанного картофеля.

Откуда-то из-за поля приносят брезентовые носилки, машина Скорой Помощи тоже застряла где-то на подъездах, и Гришу кладут на них, пристегивая кожаным ремнем. Нелепая смерть товарища заставила всех забыть про социалистическое соревнование, ударная уборка урожая сорвана.

– Родителям сообщить надо, – комиссар мрачно вытирает лоб. – Семечкин, поезжай с лейтенантом в райцентр, в Москву позвонишь.

– Почему я? – Семечкин мрачно смотрит себе под ноги, и в воздухе сгущается неповиновение.

– Ну ладно, хрен с вами со всеми, не мужики, а размазня! – комиссар зло бросает мегафон на землю. – Я сам поеду, проследи, чтобы в лагере беспорядков не было, – он бредет к УАЗику, машина буксует, потом трогается с места, и уезжает.

– Ну что, ребята, – Семечкин грустен. – Пошли отсюда, сегодня переключки не будет, у нас в кладовке водки есть бутылок десять. Разбирайте, я разрешаю. Черт бы все побрал, – он качает головой. – Угораздило же парня...

На следующее утро дождь усиливается. Пахнет сыростью, мокрой травой и хвоей. Никто на работу не выходит. Койка Гриши Авдеенко аккуратно застелена, его рюкзак лежит около кровати, и никто не осмеливается к нему приблизиться.

– Студенты, – ревет громкоговоритель, – объявляется общий сбор. К нам приехал председатель колхоза, герой социалистического труда, народный депутат Ксения Гавриловна Семенова.

Подавленные, мы стоим под дождем на зацементированной площадке около подтекающего ржавой краской пионера, трубящего в свой выцветший горн.

– Товарищи студенты, – Ксения Гавриловна небольшого роста, в деревенских сапогах, с дегенеративным, пропитым лицом и с вертлявыми манерами. На груди у нее нелепо висит золотая звезда, раскачиваясь при каждом шаге. За ней следом ходит благонадежного вида мужичок, почему-то в лаковых черных ботинках, забрызганных колхозной грязью. – Вчера случилась страшная трагедия, я понимаю ваши чувства. Мне также, как и вам жаль этого парня, который отдал свою жизнь в битве за урожай. Я ведь тоже мать, у меня двое сыновей, они сейчас проходят службу в рядах Советской Армии, охраняя границы нашей родины. Недосмотрели мы, недостаточно проводили политическую работу среди наших рабочих. А всему виной пьянство!

Она многозначительно замолкает. Ее красное лицо совсем не заставляет предположить, что Ксения Гавриловна никогда не принимает внутрь алкоголя.

– Шофер этот пойдет в тюрьму, мы его сурово накажем. Но, что бы ни случилось, – она на секунду замолкает, – как бы не было нам тяжело, Родина ждет урожай. Поэтому я

призываю к вашей советской, комсомольской, социалистической сознательности, не дайте пропасть народному достоянию на корню. В этом ваш гражданский долг.

– Наш гражданский долг – учиться. – Высокий, незнакомый мне парень сердито смотрит перед собой. – А ваш – выращивать и убирать урожай.

– Несознательно говоришь, – Ксения Гавриловна останавливается напротив него. – Ведь когда в овощной магазин в своей Москве придешь, а картошечки нету, небось сердиться станешь. Вам бы все на готовенькое, а как нюхнете, каким трудом все это достается, так нос воротите!

– Да сколько бы мы не работали, все равно все сгноите, – парень уже откровенно сердится. – Это что, шуточки что-ли? Вот Гришки уже нет, не вернуть его.

– Ты, – мужичок в грязных лаковых туфлях со злостью подбегает к парню. – Сосунок поганый, твое место в борозде!

– Да пошел ты, – парень разворачивается и уходит из строя.

– Товарищи студенты, – бабенка с золотой звездой героя растеряна, – это демагогия. Вот какие настроения сейчас пошли у нашей советской молодежи!

– Ребята, как же вам не стыдно? – Торжествующая Люба вырывается вперед. – Колхозники гнут свои спины, пытаюсь вас, городских накормить, а мы что, будем носом воротить?

– Вот, молодец, девочка, – Ксения Гавриловна с обожанием смотрит на комсомольскую активистку.

– Смотаюсь я отсюда, – Леня сжимает кулаки, ненавижу их всех!

Смута подавлена, Гришу уже отвезли в деревенский морг, и мы снова идем на поле под косым дождиком. Мокрая трава волнами переливается на лугу под набежавшими порывами ветра, старая колокольня с ликом Христа возвышается над заброшенной деревней.

Мы снова ползем по грязному полю, матерясь и наполняя мешки склизкой, гнивающей картошкой. Плоды наших рук теперь забирает на тракторе баба, подвязанная выцветшим платком. Во рту у нее папироска, она расплылась как студень, грубо ругаясь басистым голосом.

Несмотря на то, что по слухам, нам для успокоения инстинктов подмешивают бром в чай, силы природы неумолимо берут свое. Вначале Сашка находит на поле странный картофельный клубень, длинный, с приросшими к нему у основания двумя округлыми картофелинами. Несколькими движениями ножичком, и скульптурная композиция возвышается на подоконнике нашей палаты, вызывая хихиканье проходящих мимо окна девочек. Этот примитивный символ действует на них как первобытная шаманская приманка. Вскоре Сашка с другим парнем, тоже прошедшим армейскую школу, уговаривает завхоза, и тот выдает им ключ от кладовки. Каждую ночь они уходят туда, прихватив двух девиц из соседнего домика, и возвращаются часов в пять утра, постанывая от изнеможения и обсуждая достоинства и недостатки своих подруг.

Странная прострация охватывает меня, мне кажется, что от земли исходят какие-то таинственные излучения, что она полна голосами и чувствами, и я ухожу в эту странную вселенную, в отключке меня грязь по дороге на поле.

– Слушай, – Сашка только что с наслаждением побрился и умылся холодной водой, кожа на его щеках покраснела. – Ну чего ты, как неживой, честное слово. Бабу тебе надо, хочешь мы тебя с собой сегодня в кладовку возьмем?

– Нет, спасибо, – в рюкзаке у меня лежит любимая книжка, и думать о девушках, встречающихся с мальчиками в грязной кладовке, мне не хочется.

Начинаются заморозки и, наконец, картошка подходит к концу. Поле, а также и соседнее с ним убрано, и за нами снова приходят пропахшие бензином автобусы.

Последние две или три недели я не брился, и у меня отросла небольшая бородка. Мимо окна мелькают деревушки, перелески, и, наконец, на горизонте появляется город, словно огромный замок возвышающийся над окрестностями своими многоэтажными окраинными кварталами. «СССР – неприступная крепость социализма» – вспоминаю я плакат, потом Гришу Авдеенко со странно вывернутой шеей и слезы выступают у меня на глазах.

Нас высаживают около метро, я спускаюсь по привычным вестибюлям и со стыдом смотрю на свою измазанную осенней грязью куртку. Люди, едущие в этом поезде метро, как мне кажется, замечательно и красиво одеты, на них городские ботинки и приличные костюмы, женщины носят туфельки и ноги их обтягивают синтетические колготки. Они беззаботны, мягкотелы, расслаблены, им нет дела до Гриши, лежавшего со свернутой шеей на куче грязной картошки, они даже не подозревают, что завтра и их могут взять и безжалостно послать в осеннюю грязь.

Наконец, я оказываюсь возле своего дома. Я с наслаждением сдираю с себя грязное белье, тщательно бреюсь и залезаю в горячую ванную, смывая деревенскую грязь. Почему-то вот уже месяц мне хочется горячего тоста в джемом, я вставляю белый хлеб между электрических спиралей, жду пока он подрумянится, и намазываю его клубничным вареньем из болгарской банки. Потом я рассматриваю себя в зеркало. Оттуда смотрит вполне приличный, выбритый парень, ничем не отличающийся от городской толпы. Я завариваю себе кофе, закуриваю сигарету и наконец окончательно понимаю, что жизнь продолжается.

Случайные встречи

Несколько раз в моей жизни случались странные совпадения. Каждый раз они поражали меня, но вскоре забывались – мало ли что бывает, да и глупо находить мистическую связь в случайностях и обычных предметах материального мира, таких как спички, накладная, пистолет или даже мышонок.

Недавно я перечитывал «Другие Берега» Набокова и наткнулся на эпизод, который поразил меня именно этой странной временной связью событий.

«Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: »Вот это-море-в тихую-погоду«. Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: »А вот это-море в бурю«. Тут он смешал спички и собрался было показать другой-может быть лучший- фокус, но нам помешали. Слуга ввел адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крикнув, Куропаткин, в полтора как говорится приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись: пропала и его армия; провалилось все; провалилось, как проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904–1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.»

Тогда-то я и решил записать эти обрывки воспоминаний.

История 1. Мыши

До чего же тяжек этот летний полуденный сон, склеивающий глаза липкой лентой. Время катится неторопливо, на соседней улице весь день пилят и стучат молотками. С кухни пахнет домашним обедом – щи, капуста, укроп. Позвякивают тарелки, видимо Клавдия моет посуду.

Я с трудом выползаю из дома. На улице душно. Вчера во дворе свалили два прицепа свежих сосновых досок. Стоило им разогреться на солнце, как запахло свежим деревянным срезом, и капельки смолы выступили на желтоватом спиле.

Я забираюсь на доски, так, может быть, удастся заглянуть в соседский двор. Ирка из

дома напротив мне вчера рассказала, что в этом дворе весело, там пьяный дядька гоняется за двумя тетками. Но сейчас у соседей тихо.

– Ах ты окаянный, куда залез, бесовское отродье! А ну-ка слезай быстро!

Опять Клавдия засекла, черт бы ее побрал.

– Сейчас, тетя Клава! – Доски предательски прогибаются, я все-таки успел спрыгнуть, но благоухающая смолой деревянная гора вздрагивает и с грохотом обваливается, похоронив под собой жирные лопухи и загородив проход к крыльцу.

– Ишь, чего наделал, стервец! Вот я отцу все расскажу! Он тебя уму-разуму быстро обучит, оборванец дворовый! Это где же это видано, чтобы мальчонок по доскам прыгал как обезьянка цирковая? Щас тебе уши-то надеру. Куда, куда, шельма!

От Клавдии есть только одно спасение – дырка в заборе. Она в нее не пролезает, и я, наполовину высунувшись на улицу, радостно показываю ей язык.

– Ах ты, – расправа неумолимо приближается, но в последний момент я выскакиваю на пыльную мостовую и, засунув руки в карманы, невозмутимо удаляюсь, насвистывая «Мы – пионеры, де-э-ети рабо-очих».

– Стой, ты у меня получишь! – это Клавдия поняла, что через дырку ей не пролезть. – Ты лучше сегодня вечером домой не приходи!

– Ну что, доигрался? – Ирка, долговязая, с худыми ногами, торчащими из-под вытертого сарафанчика, ухмыляется. – Сегодня вечером тебе попадет.

– Мне? – Я презрительно морщусь. – Размечталась.

– А ты не храбрись. Клавдия обязательно заложит, посмотрим, что ты родителям скажешь.

– А, – ерунда, – отмахиваюсь я. – Ты мне лучше расскажи, куда свои секреты запрятала? Я же видел, как ты их в рощице хранила.

– Вот еще, дурак, – Ирка испугалась.

«Секреты» были нехитрым развлечением времен детства – лепестки одуванчиков, маленькие записочки с признаниями в любви, фантики от конфет – все это прикрывалось бутылочными осколками и закапывалось в потайных местах.

– Смотри, откопаю – все буду про тебя знать – дразнюсь я.

– Дурак. Смотри, кажется твой отец вернулся. Что-то рано сегодня.

На дороге показалась медицинская «Волга» с красным крестом. Обычно отец возвращался с работы на электричке, и я понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее.

– Ах, вот ты где, – отец дружелюбно подмигнул мне. – Ты только погляди, кого я привез!

Из скорой помощи вылез щупленький человечек с раскосыми глазами. Он был одет в серый официальный костюм с галстуком, который был ему великоват на пару размеров. Штанины волочились по земле, руки не вылезали из рукавов пиджака. Человечек покачивался и от него ощутимо пахло коньяком.

– Это товарищ Гуо, заместитель министра морского флота республики Вьетнам.

– Спасибо, – почему-то сказал Вьетнамский министр.

– А это Василий, дядька твой. Помнишь, как он тебя на руках носил?

– Здравствуйте, – оробел я.

– Ну, подрос-то как, – дядька стиснул меня и поцеловал, дыхнув коньячным перегаром. – Будущий моряк.

– Спасибо – снова невпопад сказал замминистра Гуо.

Дядька, источник бесконечных семейных легенд, усатый и пышущий жизнью, хулиган, голубятник и наполовину цыган. Несмотря на штатский костюм, Василий был настоящим

адмиралом где-то во Владивостоке.

– Мама вернулась? – озабоченно спросил отец.

– Нет, она в магазин ушла.

– Да зачем нам она, – махнул рукой дядя Вася. Гуляем...

– Ух, завидую я тебе, – Ирка стояла с широко раскрытыми глазами. – Настоящий китаец.

– Он вьетнамец.

– Все равно иностранец. Я ни одного иностранца в жизни не видела.

– Это что за красotka, невеста твоя что ли? – захохотал дядя Вася.

– Да что вы... – Ира густо покраснела.

– Никаких возражений. Веди девушку домой, угощай. У нас коробка конфет с собой, и торт.

– Торт? – обрадовалась Ирка.

– Еще какой, – закатил глаза адмирал. – С розочками, такими красненькими... С кремом, орехами. Пойдешь?

– Ух ты, – сглотнула слюну Ира... – Пойду, конечно.

– Добрый вечер, добрый вечер, – суетилась Клавдия, завидев гостей. – Кстати, шельмец-то ваш отличился сегодня.

– Не сейчас, Клава, после, после, – отмахивался отец.

– Ну, как знаете. После, так после. Но вы имейте в виду, хулиган растет.

– Клава, – отец поморщился. – Давайте договоримся – детей мы будем воспитывать сами. А сейчас лучше поставьте чайник.

– Хорошо, – Клавдия поджала губы. – Как знаете. – Судя по всему, она сильно обиделась.

Включили проигрыватель. Пока мужчины пили за дружбу народов, речной и морской, военный и пассажирский флот, мы с Ирой попробовали коньяк из бокала. Коньяк обжег горло, мы покраснели и закашлялись.

Вьетнамца разморило и дядя Вася предложил его освежить. Министра на импровизированных носилках, сделанных из гамака отнесли к берегу и бросили в канал имени Москвы. Проснувшийся вьетнамец фыркал и плевался, наглотавшись тины, а дядька-адмирал выпил большой стакан коньяка и уплыл куда-то к фарватеру, где бескрайнюю гладь бороздили «Ракеты» на подводных крыльях и обычные речные трамвайчики.

Речному трамвайчику «Москва» было решительно все равно, кто попадет в его фарватере – адмирал Тихоокеанского флота, космонавт Валентина Терешкова, дача которой была неподалеку, собачка Стрелка, или даже сам Генеральный секретарь чего угодно – компартии или организации объединенных наций.

– Господи, утонет же, – переживала мама.

– Этот утонет, как же, – фыркал отец. – Он во время переправы через Днепр самогонки выпил и купаться полез. Капитан в него стрелял, думал сбежать хочет, немцы шпарили, почти никого в живых не осталось. А Василий выплыл. Он заговоренный.

И действительно, Василий вскоре вылез на берег, отфыркался и исполнил что-то среднее между «Цыганочкой» и «Лезгинкой»..

– Ну что, молодежь, не клюет?

Мы сидели на берегу с удочками. Клева не было и в помине.

– Не так ловите, засранцы, вот как надо ловить, – дядя Вася ловко выпил стакан коньячной жидкости и вылил остаток на полудохлого, размокшего червяка, который от дозы горючего начал извиваться словно грешник в аду, и забросил удочку в мутную

воду. – Вот так, вот это по-нашему...

Как по-волшебству, на крючке вдруг оказался переливающийся золотом лещ.

– Фокус-покус, – односложно объяснил волшебство дядя Вася, и отжался раз двадцать. От него пахло коньяком и здоровой плотью.

В последний раз я видел дядьку году в восьмидесятом, вскоре после Олимпиады. Он поседел, но все так же пил коньяк стаканами и бурчал под нос песню про то, что врагу не сдастся наш гордый «Варяг». Он пах хорошим одеколоном. Коньяк он принес с собой, да и закуску тоже.

До сих пор не знаю, что с ним стало после распада империи, всех нас разметало по поверхности шарика.

Клавдия нам отомстила. Через пару дней она поймала нас с Ирккой с поличным во время кражи шоколадных конфет из кухонного шкафчика. В наказание нас повели на казнь пойманных мышек. Да даже не мышек – мышат, маленьких, серых, дрожащих от ужаса, с глазками-бусинками. Мышата сидели в мышеловке рядом с уже ненужным кусочком сыра. На крыльце стояло наполненное водой оцинкованное ведро.

– Все из себя, умные, – ругалась Клавдия. – Делают что хотят, пьянствуют, китайца в канал уронили. Вот и дети у них такие же, распущенные. Ну-ка, идите сюда.

– Не надо, тетя Клава, – всхлипнула Ирка. – Мне их жалко, не надо, пожалуйста.

– А вот родителям все расскажу! Думаешь я не видела, как вы вино из стакана пробовали? У, бесстыжие. Давайте, открывайте дверку! – Клавдия схватила нас за руку и заставила онемевшими пальцами открыть какой-то замочек. Два беспомощных тельца плюхнулись в ведро, судорожно забили маленькими лапками и начали пускать пузыри. Сердце мое сжалось от ужаса, а Ирка заревела.

Вечером я рассказал обо всем маме. Она пошла ругаться с Клавдией, потом кто-то громко хлопнул дверью. Остаток лета я почти не запомнил, в памяти все слилось в какой-то калейдоскоп.

Лет через пятнадцать я был у друзей на студенческой свадьбе. Праздновали на чьей-то даче, добрались туда от электрички с трудом – начался сильный снегопад. Как всегда былолюдно, шумно и накурено.

Среди гостей была девушка с серыми глазами, я про себя обозвал ее «сероглазкой». Она слегка косила под хиппи: короткая челка, перчатки с отрезанными пальцами, длинные сапоги. Сероглазка таскала за собой в клетке белую мышку по кличке «Сэр Роджер», такой видимо у нее был творческий образ. Сэр Роджер суетливо ползал между кормушкой и колесиком-мельницей, которое он с увлечением крутил на забаву присутствующим. Еще запомнилось, что студенты упорно пытались напоить мышку вином.

Употребив почти все имевшиеся в наличии запасы спиртного, мы вылезли на крыльцо. После ночных возлияний я был расслаблен, и начал прощупывать подходы к сероглазке.

– Как бы я хотел жить в этой клетке. Рядом с такой эээ... необычной хозяйкой, – я мечтательно нес чепуху. – Каждый вечер смотреть на нее.

– Отстань. Дай лучше закурить, – хрипло сказала сероглазка.

– Аvek плезир, мадам – я пошарил по карманам и нашел помятую пачку сигарет. – Вы знаете, мне кажется, я вас где-то видел.

– Мало ли, – усмехнулась она. – Слушай, кавалер, там вино еще осталось?

– Вроде все выпили, но я сейчас поищу.

Я кинулся в комнату, увидел своего приятеля, прикорнувшего на кресле в обнимку с бутылкой вина, и прошептал «Прости, друг», аккуратно вытащил сосуд из его рук.

– Смотри-ка, нашел, – удивилась сероглазка. – На роль домашнего мышонка сгодишься, пожалуй. Кстати, мышкой быть не так уж и хорошо. Даже у меня в клетке.

– Да, – сцена мышьи казни из детства вдруг встала перед глазами. – Иногда их топят. В оцинкованном ведре.

– Перестань, – вдруг вздрогнула сероглазка.

Мы встретились глазами. Что-то неуловимо-знакомое просвечивало в ее лице, как же я раньше этого не заметил.

– О, Господи. Тебя как зовут? Ира?

– Да.

– Ирка. Ну ты даешь... Ты меня помнишь? А Клавдию, на даче...

– Ах, так это ты... Давно это было.

– Ну надо же так встретиться, – поражался я.

Мы допили вино. Начало светать и где-то за деревьями застучала колесами первая электричка.

– Слушай. У меня к тебе просьба – вдруг сказала Ира.

– Да? – удивился я.

– Я сейчас уйду. Тихо, по-английски. Мне на самом деле давно уже пора.

– Да куда же ты пойдешь, все замело на хрен.

– Не твое дело. Да, и еще, не рассказывай никому, что мы были знакомы. Обещаешь?

– Угу, – сглотнул я слюну. Я ничего не понимал.

– Только ничего не спрашивай. Так надо, – она приложила к моим губам палец и посмотрела на меня серыми глазами. В них была странная, бесконечная пустота, от которой мне стало не по себе. – Пока.

– Счастливо... Жаль, честно говоря. Может быть хоть телефон оставишь?

– Не стоит. Хочешь – возьми сэра Роджера на память.

– Да куда я его дену, – растерялся я.

– Ну, как знаешь.

Ира ушла. Я закурил последнюю сигарету и потряс головой. Казалось, что все это мне приснилось.

Через пару недель я попытался ее разыскать, но никто толком не мог вспомнить, чьей подругой она была. Мои однокурсники запомнили только белую мышь в клетке, короткую челку, да серые глаза.

Много лет спустя я увидел такой же пустой, отрешенный взгляд у людей, сидевших на тяжелых наркотиках. Впрочем, это только мои догадки.

История 2. Накладная

Когда я перешел в третий класс, жителей коммунальных квартир переселили в новенькую, пахнущую известкой пятиэтажку, из тех, которые народ с обозвал «Хрущобами». Никита Сергеевич, впрочем, уже несколько лет как был отстранен от власти, но дело его продолжалось.

Почти весь наш двор оказался в доме номер 5 по Театральному проезду. В доме этом все перемешалось. Жили в нем и архаичные деревенские бабульки в шерстяных платках, и дети трактористов и водопроводчиков, и полковник-артиллерист, за которым

приезжала по утрам черная «Волга».

Каждый день мы с приятелями убегали на соседнюю стройку, залезали в котлован, пробегали мимо забитых в землю свай, прыгали по горам из блочных панелей. Мы играли в войну и приходили домой грязными с головы до ног.

Однажды Валерка Глазков провалился почти по пояс в жидкую грязь. Положение было отчаянным, выбраться он не мог, и я побежал звать Валеркиного отца на помощь. Работал этот высокий, мрачный мужик трактористом.

– Сорванцы, хулиганье, – отчитывал он нас. – Что вас туда понесло, земляца–то вся вспучилась.

Меня насильно привели к Валерке домой, вымыли и накормили обедом.

– Ешь, ешь, – причитала мама Валерки Глазкова. Работала она, кажется, штукатурщицей в строительном управлении. – Нечто твоя бабка тебя накормит? Да она, небось, и готовить–то не умеет.

– Спасибо. Да нет, она очень хорошо готовит, и щи варит, и котлеты делает.

– Все равно ешь, я люблю, когда дети кушают. Ты, главное, черный хлебушек кушай. Почему народ русский такой сильный супротив всяких немцев? Потому что ржаной хлебушек ест, а в нем сила. Ой, какая сила.

– Как у Геркулеса, – усмехнулся я.

– Какого еще Геркулеса? – удивилась Валеркина мама.

– Овсянка так называется, в пачках. «Геркулес», – пошутил я. – А еще такой был греческий герой, силач.

– Ааа, – протянула штукатурщица. – А лучше всего гречка. От гречки сила–то идет. Ты какую любишь, размазную?

Однажды, проходя мимо подъезда я увидел, что окошечко, ведущее в подвал разбито. Подвал давно был предметом детских вожделений, но железная дверь на лестнице всегда была заперта массивным навесным замком.

Я не смог избежать искушения, выдавил остатки стекла, пролез сквозь узкое оконце, кое–как сполз по стене, встав ногой на трубу, и оказался в подвале. Подвальный мир был страшен, но манил с невероятной силой. Там стояли лужицы, пахло известкой и краской. Казалось, что в соседнем закутке, среди водопроводных труб вот–вот обнаружится скелет.

С тех пор мне часто снится сон про этот подвал–подземелье, с узкими ходами, влагой, хитро переплетенными трубами. Я попадаю в него, карабкаюсь по катакомбам и всегда вылезая через окошечко на улицу, оказываясь в одном и том же месте, в одно и то же время, отделенное от подвальных времен примерно двумя десятилетиями. И на этой улице всегда цветут липы и идет дождь.

– Валерка, – вылез я из подвала весь перемазанный в побелке, но счастливый. – Я такое место нашел. Айда!

Подвал для мальчишек был островом сокровищ. В запутанных переходах и лабиринтах, между трубами отопления и канализации, нам удалось найти настоящую лопату, помазок, пустые бутылки, которые мы сдавали в пункт стеклопосуды по 12 копеек, и даже почти полную, забытую кем–то пачку «Дымка». Не говоря уже о сложенных в углу люминисцентных лампах (тех самых, длинных, вакуумных, которые взрывались с грохотом). Пару лампочек мы тут же взорвали, представляя себе, что отбиваемся от немецких танков. А сигареты «Дымок» выкурили.

Подвал этот стал местом наших тайных встреч. Мы устроили в нем что–то вроде партизанского штаба. Особенно хорошо в нем было зимой – на улице мороз, а нам, засевшим среди покрытых изоляцией труб тепло, мы хвастаемся друг перед другом

своими сокровищами: найденным на перекрестке около дома: задним фонарем от «Москвича», ржавой, изогнутой водопроводной трубой, потерянными вымпелом с золотым профилем Ленина, и припасенными кусками карбида. Карбид, как и свинец, у нас в особой цене. Свинец можно выплавлять на костре, наливая его в старую консервную банку, и, когда он уже совсем расплавился, опрокидывая раскаленную железку в формочку. Когда он застывает, получаются замечательные, тускло-металлического света битки. Карбид – вещество взрывчатое, он идет к свинцу по весу, как один к трем. Карбид, когда его бросаешь в лужу, шипит, едкая вонь плывет в воздухе, потом белые склизкие куски взрываются белым пламенем, вызывая одобрительные возгласы собравшихся.

Как-то раз после школы я занес домой портфель, небрежно сообщил бабушке, что пошел гулять и тут же спустился в подвал. Валерки еще не было. В подвале было удивительно тихо, только где-то вдалеке капала вода из прохудившейся трубы.

Неожиданно дом задрожал. Глухие басы встряхнули трубы и перекрытия, посыпалась цементная пыль.

Рядом с домом остановилось что-то, издающее этот мощный гул, этот ритм мотора, захватывающий сердце. Так мог рычать только танк.

Я выглянул из подвального окошечка. Взгляд мой уперся в перепачканные глиной массивные, танковые гусеницы. Около дома стоял громадный бульдозер, плюющийся облачками синего, вонючего дыма.

Мне ужасно захотелось посидеть на месте водителя этого мастодонта. Я вылез из подвала и начал карабкаться по огромным гусеницам вверх, к кабине. Я боялся, что бульдозер тронется, и раздавит меня с ботинками, шапкой-ушанкой и синтетической шубой.

Водительская кабина была пуста. На сиденье лежали пачка «Беломора» и замызганный коробок спичек. Я покрутил коробок в руках, неведомый бульдозерист почему-то засовывал сожженные спички с обратной стороны темно-фиолетовой коробочки.

Мне ужасно хотелось взять папиросу, похвастаться перед друзьями, но я сдержался.

Около пачки папирос были сложены зеленоватые бумажки с плохо пропечатанными полосками. Накладная, – прочел я. – Солярка, три, ноль ноль эл. Чего эл, литров что-ли? От бумажек веяло чем-то официальным, почти секретным, государственным. Буква «Л» большая, с расплывшимся внизу чернильным завитком. Под ней подпись, и еще одна, и фиолетовая печать. И корявые цифры.

Повинуясь какому-то странному импульсу, я схватил разграфленную бумажку, прыгнул с гусениц в жидкую грязь и спрятался в подвале.

Вскоре появился Валерка.

– Саня, ты здесь, что-ли? – Он напуган. – У папки накладная на топливо из бульдозера пропала, он ругается, злой как черт.

– Накладная? – Мне стало не по себе. – А как она выглядит?

– Не знаю, – Валера начал плакать, размазывая сопли. – Он к мамке как раз приехал в обед с работы, выпил еще как назло, а тут... Он говорит – новый бульдозер, первый день доверили, а теперь с работы вышибут и нам жрать будет нечего.

– Погоди, – я вдруг придумал выход из создавшейся ситуации. – Я когда в подъезд заходил, вот это нашел, – я протянул Валерке листочки, похищенные из бульдозера. – Может это твой батя потерял?

– Ух ты, – Валерка счастлив. – Я сейчас его спрошу, подождешь меня, ладно?

– Пап, пап, – заорал Валерка, протискиваясь через окошечко. – Нашлась, нашлась!

– Твою так. Откуда ... – Рев Валеркиного отца проникает сквозь стены.

– Уфф. Успокоился, – доверительно сообщил мне Валерка спустя полчаса. – Ну и натерпелся я страха. Как хорошо, что ты эту бумажку нашел...

– Да ладно, – мне стало стыдно. – Я так и подумал, мол, мало ли, документ все-таки.

Летом далекого будущего года мы снимали крохотную комнатку в Юрмале. Песчаные дюны, прохладное море, пенистое пиво из автоматов и столовая около станции – все это пролетело как сон. В последних числах августа я вернулся в Москву.

– Хорошо, что ты приехал, – буркнул наш завхоз Алик. – Завтра с утра придет грузовик, поедешь на мебельный комбинат получать лабораторные столы. Больше некому. А столы нужны, сам понимаешь.

Институтский водитель курил и ругался. Мы тряслись где-то на Варшавском шоссе, и наконец свернули на разбитую дорогу, ведущую к унылому комбинату, обнесенному колючей проволокой.

– Мы за столами, – я сунул пачку бумаг усталой женщине средних лет, сидевшей в приемной

– А в бухгалтерии подпись получили?

– Нет еще, а надо?

– Идите в бухгалтерию, пусть они завизируют, потом в транспортный отдел, как транспортный отдел подвизет – снова ко мне, я выдам накладную и поедете на третий склад.

После двухчасовой беготни по кабинетам и ожидания разнообразных ответственных лиц – бухгалтерши, ушедшей на обед начальницы транспортного отдела, перекуривающих грузчиков и прочих, заветная накладная была наконец получена и наш «ГАЗик» оказался около третьего склада.

– Чего забираем, мужики? – Осведомился щупленький мужичок в брезентовой курточке.

– Пять лабораторных столов.

– Это можно, – рассудительно согласился мужичок. – Сейчас, погрузчик освободится... А как насчет, ну сам понимаешь?

– У меня только пятерка, – я с сожалением посмотрел на последнюю бумажку в исхудавшем после отпуска кошельке.

– Не жирно, но тоже сойдет, – подмигнул щупленький работник склада.

– Стой! Куда столы грузите? Где документы? – в складском проходе показался парень в темном халате. Выглядел парень не ахти как: не то уголовник, не то дружинник.

– Не волнуйся, начальник, документы в порядке.

– Накладная, накладная есть? Вы здесь возите туда-сюда, а мне потом разбираться.

– Да вот накладная, все подписи вроде получил. – Я протянул заветные бумажки

– Так... – Вроде все подписали. Ты, друг, слышишь, не обижайся. Эти за бутылку весь склад вынесут. А мне отвечать, понимаешь?

– Валерий Петрович, – крикнула необъятного размера складовщица, вылезшая из здания. – К телефону вас. Директор...

– Сейчас... – буркнул заведующий. – Только подпишу: разрешаю на вывоз, Глазков.

– Знакомая фамилия, – поразился я. – Ты случайно не на Театральном проезде жил?

– Точно, – у парня от неожиданности отвисла челюсть.

– Валерка, а ты меня не узнаешь? Как мы в подвале сидели? Помнишь, я еще накладную твоего бати нашел?

– Е-мое, – протянул Валера. Так ты что, тот самый Саня? Ну ничего себе, не узнать.

– Тебя тоже не узнать. Как живешь-то?

– Нормально. ПТУ закончил, потом курсы повышения квалификации. Вот, заведующим складом работаю. А ты чего, мебель возишь?

– Да нет, обычный сотрудник в НИИ. Просто никого больше на работе не нашлось, вот меня и послали.

– Валерий Петрович, говорят же вам, директор на линии, – зашипела толстая тетка. – Ну сколько можно ждать?

– Да бегу, бегу. Ну пока, Санек, рад был повидаться. Смотри, накладную не потеряй, без нее с территории не выпустят.

– Счастливо, Валерка. Может еще пересечемся.

– А батя–то мой помер, уже лет пять как будет. – крикнул Валерка вслед. – Пил много.

Грузовик выехал к пропускному пункту. Вахтер долго рассматривал накладную, потом махнул рукой, и машина выкатилась на пыльную Московскую улицу. Я тогда подумал, что жизнь наша крутится вокруг проклятых бумажек со штампами и печатями, от свидетельства о рождении до накладной, и круговорот этот передается от отца к сыну.

История 3. Пистолет.

– Чего дрыхнешь, вставай!

– Сейчас, – я никак не могу проснуться. Первый луч солнца падает на ковер, висящий около кровати. На этом ковре странное животное охрового оттенка стоит на берегу неестественно синего озера. За животным виднеются горы со снежными вершинами. Снег от времени пожелтел, и горы напоминают выгоревшие под ярким солнцем желтые сопки Маньчжурии.

Я пытаюсь проснуться и занимаюсь любимым развлечением – пытаюсь угадать, кого изобразил художник: быка или лошадь. Скорее всего, это плод несчастной любви сельской коровы и лося, иначе откуда у этого зверя выросли разлапистые рога.

– Сейчас, сейчас, – дразнится Олег. Ему уже лет тринадцать, он совсем взрослый. – Это же просто елки–палки натуральные, зелено–голубые. Пока ты в постели валяешься, клев прекратится. Я тебе рассказывал, какого карася на прошлой неделе поймал? Вот такого, – Олег разводит руки в стороны. – А все потому, что рано встал. С утра самый клев, если ты не знаешь. Ну и дрыхни, а я сам пойду, и пусть тебе обидно будет. Елки–палки натуральные...

– Все, все, уже встаю. – Меня ждут караси, таинственные, с серебряной и золотой чешуей, скрывающиеся в глубине пруда, среди водорослей. Караси эти тыкаются пухлыми губами в землю и выпускают на поверхность воды мутные пузырьки.

– Ну наконец–то. Пошли червей копать, – Олег командует по праву старшего.

– Угу, – я ковыряю детской лопаткой влажную землю около кустов крыжовника. Как на зло, в горке глины не находится ни одного червяка.. Честно говоря, я их побаиваюсь и немножко брезгаю. Эти огородные черви, розовые, жирные, извивающиеся, пускающие мокрую слизь, когда их насаживаешь на крючок. Но рыбу без них не поймать.

– Глубже, глубже бери. – Олег поддевает землю лопатой. – Теперь разрыхляй, они здесь наверняка должны быть.

Я врываюсь в землю, пока не натыкаюсь на какой–то странный предмет. Острие лопатки звякает, и я вытаскиваю из земли завернутый в сгнившую тряпку сверток.

– Ух ты, – шепчу я. В тряпке завернут пистолет. Он тяжелый, слегка заржавевший, но

точь в точь как игрушечный. – Олег, посмотри. – Я радостно сжимаю в руках черную рукоятку.

– Е-мое... Это же просто елки-палки натуральные, зелено-голубые. Неужели настоящий?

– Я маме покажу...

– А ну-ка отдай, – он подбегает ко мне, вырывая покрытую комьями земли находку из рук.

– Еще чего, – кричу я. – Это я нашел!

– Было ваше – стало наше, – с холодной решительностью произносит Олег. – И если только попробуешь мамашке пожаловаться, так и знай, я к тебе ночью приду, – он делает страшную рожу. В темноте...

– Не испугаешь, – я высовываю язык. – Я все родителям расскажу.

– Я тебе, стой! Стой, кому говорят!

– Попробуй, догони! – Я уже обогнул кусты с крыжовником.

– Ах ты, – он несется за мной, но я ору изо всех сил.

– Что случилось? – Мама появляется на крыльце. – Что ты орешь как ненормальный?

– Олег у меня пистолет отобрал, – слезы уже льются из глаз, я обижен, – Ведь это я его нашел! Это мой пистолет!

– Какой еще пистолет? – мама бледнеет.

– Мы червей копали, – пытаюсь объяснить я.

– Олег, Олег! – кричит мама. – Ну-ка иди сюда!

– Я никуда и не убежал, – Олег смущенно появляется откуда-то из-за кустов.

– Что это еще за пистолет? Отдай его мне немедленно!

– Я не знаю, – Олег что-то прячет под рубашкой.

– Я тебе сказала, отдавай сейчас же!

– Я не виноват, – Олег всхлипывает, скривив лицо, таким я его еще не видел, тоже мне, семиклассник нашелся. – Это он его откопал.

– И если хоть одно слово, ты слышишь, хотя бы одно, если соседи узнают, я не знаю, что с тобой сделаю! За грибами завтра с нами не пойдешь, родителям все расскажу, и вообще... Ты меня хорошо понял?

– Угу, – мой старший друг напуган. – Это же просто елки-палки натуральные. Зелено-голубые...

– Это я откопал! – делаю я робкую попытку восстановить справедливость. – Это мой пистолет!

– Твой, говоришь? – мамин голос сухой и неприветливый. – Вот вечером приедет отец и с тобой разберется. Теперь иди в сад, и сиди там до обеда. Понял?

– Понял, – я с трудом сдерживаю слезы.

– А ты Олег, иди домой. Нечего тебе здесь делать.

– Мам, мы на пруд хотели пойти, рыбу ловить.

– Никакой рыбы. Вы наказаны.

– За что?

– Не твоего ума дело. Сказано тебе – сидеть в саду...

Ну что делать в нем, в этом саду. Как в тюрьме. Крыжовник, несколько яблонек., большая сосна и забор. День катится неторопливо, на обед – щи с капустой и макароны по-флотски. Наевшись, я ложусь на раскладушку, смотрю на голубое небо, в котором летит самолет, на чуть подрагивающие листья, и сам не замечаю, как погружаюсь в дремоту.

Когда я просыпаюсь, солнце садится. Отец уже дома и о чем-то разговаривает с мамой на кухне. Я тихонько подкрадываюсь к распахнутому окну.

– Ты понимаешь, – мамин голос дрожит. – Они его откопали. Я же тебе говорила, выкини его куда-нибудь, ведь если узнают – посадят!

– Черт побери, – папа, кажется, расстроен. – Да он же мне жизнь несколько раз спас, у меня рука не поднималась...

– Не знаю. Надо что-то делать. Давай его в озере утопим, что-ли?.

– А если они мальчишкам расскажут?

– А вот с этим, мой дорогой, как-нибудь сам разбирайся. Скажи им, что он игрушечный, старый, дети же...

– Да, пожалуй ты права.

Я понимаю, что говорят они о найденном пистолете. «Значит, он настоящий», – понимаю я и сладкое чувство запретного разливается по телу. – Значит я держал в руках...

– Саша, – мама открывает окошко, и я испуганно пробираюсь вдоль фасада дома. – Саша, ты куда запропастился?

– Я здесь, мам.

– Ну-ка быстро домой, отец с тобой будет говорить!

– Иду, – я, слегка дрожа от страха, появляюсь на маленькой дачной кухне, пропахшей керосином.

– Ну что, – папа явно притворяется, он подмигивает мне, изо всех сил делая вид, что ничего такого не произошло. – Рассказывай.

– Мы с Олегом червей копали, хотели карасей удить. Я правда ничего такого не сделал! Нашел этот пистолетик, а Олег его отнял, хотя это я его выкопал...

– Хорошая игрушка, правда? – он кладет на стол мою находку.

– Угу, здорово. Пап, а он настоящий?

– Какой там настоящий, ты что, с ума сошел? Игрушечный, конечно. Это братишка твой когда маленьким был, попросил закопать, да и сам забыл.

– А я такого в магазине никогда не видел...

– Он импортный, немецкий. Таких больше не выпускают. Только сломанный, не работает. Давай его выкинем.

– А на курок можно нажать? – Я с интересом смотрю на отливающее черным металлом дуло.

– Да чего там нажимать, таких пистонов все равно уже давно в продаже нет, – Папа зевает. – Пошли его в пруду утопим, согласен?

– Не хочу, я его нашел. – Зачем же выкидывать такую находку, я могу перед соседскими мальчишками хвастаться.

– Послушай, – отец, похоже, теряет терпение. – Мы его выкидываем, и все тут. А тебе я новый куплю, и пистонов целую упаковку. Хочешь, в «Детский Мир» вместе съездим?

– Пап. А можно, ты мне купишь такой, металлический, который мы с тобой видели.

– Можно. Я тебе куплю все, что ты захочешь.

– Честное слово? А сто пистонов можно?

– Можно. Ну что, утопим этот ржавый хлам, зачем он тебе?

– Пошли, – я предвкушаю поездку в «Детский Мир». Я там был с мамой весной, глаза разбежались... Окошки, дети, школьная форма, Лубянка, весенний воздух, незатейливые игрушки и сложные конструкторы. Лестницы, закутки, линии, отделы, – целый мир. И совсем не детский.

Солнце уже садится, берег пруда зарос камышами, беснуются лягушки, пахнет водой и той особой свежестью, которая поднимается от вечерней травы в средней полосе России.

Между камышами деревянные мостки, с которых мы ловим рыбу.

– Ну ладно, прощай, – отец молчит. Потом он изо всех сил бросает пистолет в воздух. Он крутится как бумеранг, но не может долететь до мостков и падает в воду, примерно посередине пруда. Фонтанчик брызг, круги на воде, да рассерженное кваканье лягушек. Как по команде, тут и там начинают плескаться караси...

– Эх, черт, сейчас бы удочку.

– Завтра. Домой пора...

Много лет спустя, после празднования 9 мая, отец выпил лишнего и поделился со мной воспоминаниями. Оказывается, у фронтовиков были свои суеверия, хотя, казалось бы, какие суеверия могли выжить в той мясорубке, которая не щадила ни своих ни чужих ...

Пистолет этот действительно был немецким. Он попал в руки к отцу случайно, когда его накрыло взрывной волной в окопе. Немцы наступали, он потерял сознание. Очнувшись, он увидел, нога его пробита осколком, а рядом лежит убитый немецкий офицер. Отец его как будто обнимает, держась за кобуру. Тот самый пистолетик, почти что дамский и был в этой кобуре.

Потом началась полная неразбериха, все смешалось, и немцы и наши отошли на старые позиции, а контуженный и раненый отец остался в окопе на ничейной полосе. Время от времени немцы делали вялые попытки продвинуться, возможно для того, чтобы забрать убитых, но отец раз в несколько минут стрелял из пистолетика. Патронов было всего шесть или семь, хватило минут на сорок. К счастью, немцы умирать не хотели и после каждого выстрела отползали обратно.

Через полчаса, когда подсчитали потери и дивизион собрался вместе, старый приятель отца понял, что дело неладно. Он взял двух солдат, и они, пуская очереди из автоматов, выползли на нейтральную территорию.

Услышав автоматные очереди, немцы решили, что русские пошли в атаку, сказали парочку хороших баварских ругательств, и решили отступить. В результате чего отца удалось вытащить и отвезти в госпиталь.

С тех пор этот почти что игрушечный пистолет служил ему много раз. Однажды в него, лежащего в нагрудном кармане шинели ударилась пуля.

Из этого пистолета был убит немецкий танкист, выскочивший из подбитого танка. Танкист, видимо, был идеологически упертым, или попросту озверел. Вместо того, чтобы удрать, он схватил автомат и начал стрелять, тяжело ранив того самого отцовского приятеля, который когда-то вытащил его из окопа.

– Сам не знаю, как попал, в такие минуты не думаешь, а до сих пор жутко... – признался отец. Он на самом деле был военным врачом и стрелял редко, хотя видел всего в избытке. – Он побежал, скорчился, упал, и начал биться, как будто начался эпилептический припадок. Я их тысячи перевязывал, вытаскивал, и конвульсии видел, а в этот раз я его убил. Такого рыжего, с орлиным носом. Так что запомни – не верь ни одному лидеру, отцу народов или президенту.

В результате, расстаться с этой боевой реликвией отец не смог, тайком привез домой, и зарыл в саду.

Черт его знает, как называлась эта станция. Странное название, помню, что то ли предыдущая, то ли следующая называлась «Заветы Ильича», но эта платформа была односложной.

В паре километров от железной дороги располагалось стрельбище, на которое

привезли студентов третьего курса. Руководил нами капитан Сорокин, мужик умный и ироничный, луч света в темном царстве институтской военной кафедры.

Жарко. Зеленая армейская рубашка уже пропиталась потом, галстук с золотой заколкой давит шею. Автомат Калашникова отдаёт в плечо, но я уже почти утратил свою незрелую юношескую неприязнь к этой совершенной машине уничтожения. Стрелять, так стрелять, – я выпускаю свои положенные десять пуль.

Мы устраиваем привал, устроившись в тени большого дерева. Хочется пить, к счастью у нас с собой есть несколько бидонов с квасом. Юрка Соколов достаёт переносное радио, которое он сам спаял. Это радио – предмет его гордости, он с ним никогда не расстанется, пластмассовый корпус расколот и бережно обмотан синей изолентой. Юрка завороченно прислушивается к раздающемуся из пластмассовой коробочки голосу, часто моргая глазами. На лице его появляется тщетная попытка осмыслить то, что говорит диктор, это ему явно не удастся, но Юрка продолжает прислушиваться.

«Только-что стало известно, – голосом Юрия Левитана произносит транзистор, что на очередных выборах в Великобритании победили консерваторы, оттеснив партию Труда от власти. Во главе консерваторов стоит печально известная своими крайне правыми, реакционными взглядами Маргарет Татчер. »Железной Леди« прозвали ее англичане. В своих выступлениях эта, с позволения сказать, »Леди«, отец которой содержал бакалейный магазин, допускает антисоветские, антикоммунистические нападки на нашу страну, она призывает к укреплению сил военно-империалистического блока »НАТО« в Европе. С ее избранием на пост премьер-министра Великобритании, начинается новая, зловещая эпоха в истории всего Европейского континента. Возрастает и военная опасность.»

– Вот, видите, – глаза Сорокина смеются, – а вы стрелять не хотите учиться. Все думаете, что это чепуха, всегда над нами будет мирное небо...

– Какая разница, – вздыхает одна из наших девочек, тоненькое создание с большими ресницами. – Ведь если чего начнется, все равно до кладбища добежать не успеешь, шарахнут ядерными ракетами и все!

– Взгляд, конечно, варварский, но верный, – зевает капитан. Я смотрю на него с изумлением.

– Отдыхайте, ребята, – машет он рукой. – Попейте кваску, успокойтесь. Чему быть – того не миновать...

«Прогрессивное человечество, – продолжает вещать радио, – с беспокойством восприняло известие об избрании Маргарет Татчер премьер-министром Великобритании. Труженики Греции вышли сегодня на массовую демонстрацию протеста, неся плакаты, осуждающие политику НАТО. Аналогичные протесты прокатились по Португалии. Наш корреспондент в Лиссабоне связался с нами по телефону, и передает, что...»

– Так, отдых закончен. Продолжаем готовиться к наступлению международной реакции, – глаза Сорокина смеются. – Теперь будем стрелять из пистолетов.

Инструктор на стрельбище – долговязый парень с погонами младшего лейтенанта и светлыми усами. Обычный, таких сотни, но почему-то он мне знаком. То ли характерный жест правой руки, то ли челюстью двигает время от времени, как будто жуёт...

– Итак, товарищи, студенты, вы сейчас получите пистолет системы Макарова. Запомните, после снятия предохранителя, направлять оружие только на мишень. Не отводить в сторону ни на секунду. По счету три – стреляем. – Раз, два, три – пли!

Все идет гладко, пока одна из девочек нажав на курок пугается грохота, и, взвизгнув тоненьким голоском, роняет пистолет на землю.

– Эх вы, вояки, – разочарованно произносит младший лейтенант. – Это же просто елки-палки натуральные, зелено-голубые. Ладно, следующий.

Следующим был я. Роковая фраза вызвала в сознании цепь воспоминаний, и я узнал Олега. Какое-то странное чувство неловкости помешало подойти, поздороваться, напомнить о себе, о пистолете. Я выпустил положенные пули в мишень. Отдача была сильной, с непривычки пистолет ходил в руке.

– Так себе результатик, – буркнул Олег. – На троечку с плюсом. – А если бы там действительно противник стоял? Стрелять надо лучше, студент. Ведь вы же будущий офицер, какой пример подчиненным покажете? Следующий!

И тут мне пришла в голову страшная мысль, о том, что пистолет убитого немецкого офицера и после войны продолжал распространять флюиды убийства, заражая ими детей, которые успели повзрослеть.

И подумалось, что все-таки хорошо, что этот маленький металлический цилиндр с рукояткой теперь лежит на дне пруда, где-нибудь под толстым слоем ила, и наверняка проржавел до основания.

Впрочем, за прошедшие годы было придумано еще много всякого другого оружия, так что этот невинный акт разоружения среди зарослей камыша вряд ли чтонибудь изменил в человеческой истории. Как говорили древние римляне – хочешь мира, готовься к войне.

История 4. Газета

Вот ведь какая штука. Большой был город Москва, бестолковый, слегка азиатский, а все-таки маленький. Того и гляди, кого-нибудь встретишь. Прошлым летом около Белорусского вокзала я наткнулся на Рафика. Был у нас в школе такой смуглый парнишка, как и всякий восточный человек дословно воспринявший всесильное учение, которое верно по определению.

Случайное движение одушевленных фигур на огромной шахматной доске жизни сводило меня с Рафиком три раза. Бог троицу любит, как говорил наш лектор по марксистко-ленинской философии. Если явление повторяется два раза – это закон природы. Если больше – это уже судьба.

Детство мое прошло в Столешниковом переулке. В памяти остались случайные картинки – бульвары, скверы и дома. Корни деревьев прикрыты чугунными решетками. Любимое развлечение – прыгать по их узорам.

Может быть поэтому меня в школе поразило стихотворение «Твоих оград узор чугунный». Если пытаться найти различие между Москвой и Петербургом, то не в поребрике дело, а в культуре оград. Московские ограды легли в плоскости улиц.

Дом наш стоял в саду «Эрмитаж». В садике располагались какие-то странные эстрадные помосты, детская память отказывается восстановить их: что-то напоминающее громадную мраморную раковину. Как только темнеет, здесь собираются люди, зажигаются цветные лампочки, и начинает играть оркестр. Толстая тетя в малиновом платье раскачивается на эстраде, выводя своим контральто что-то несуразное. Каждый вечер одно и то же: «Я– Земля, Я–Земля » А потом она с надрывом поет что-то вроде «И скорей возвращайтесь домой!».

При чем тут земля? – Я с недоумением смотрю на асфальтированные дорожки, пытаюсь ковырнуть ногой клумбу. После пяти или шести попыток мне это удается, но сандалик испачкался.

– Саша! – Возмущается мама. – Зачем ты в грязь залез, как тебе не стыдно!

«Я – Земля», мне почему-то становится немного жутко от сюрреалистического содержания этой песни. Разве вот эта, жирная грязь, разве она может к кому-то обращаться? Например, ко мне. И, когда певица снова заводит свою песню, мороз пробегает у меня по коже.

Сад огорожен от улицы решеткой, поэтому меня иногда выпускают погулять одного. Я стою, прислонившись лицом к холодным прутьям, и показываю язык прохожим, особенно – девочкам моего возраста, которых тянут за руки мамы в шуршащих платьях. Мальчики тоже подходят для моих забав: высовыванием языка и гримасами я будто заменяю животный инстинкт, сродни тому, как волки помечают свою территорию.

Вот, например, смугленький мальчик, почти что негр, в белой рубашечке и в туфельках. Его сопровождают две накрашенные тети вполне отчетливого вида, от которых за километр несет приторными духами «Красная Москва», теми которые продавались в красной коробочке с золотым профилем Кремлевской башни. Мальчик несет в руке газету, как будто уже умеет читать. Вид у него при этом важный, такого грех не подразнить.

Увидев меня мальчик открывает рот от удивления. На секунду замешавшись, он начинает корчить мне ответные рожи. Вначале он высовывает язык, потом широко приставляет пальцы к носу.

– Рафик! – одна из тетенок наконец возмутилась, оторвавшись от обсуждения шелкового платья, которое они только что так и не купили в Пассаже. – Немедленно спрячь язык, как тебе не стыдно!

– Я не виноват, это он мне первый язык показал! – Ябедник указывает на меня.

– Фуу... Какой плохой, невоспитанный мальчик. Оборванец какой-то! – Вступает в разговор вторая тетенька. Мне становится на секунду стыдно, но я уже вошел в образ и торжественно показываю тетеньке язык.

– Нет, Люба, ты посмотри, какой хулиган. И это в Москве, в самом центре, хоть милицию вызывай. Может быть он беспризорник какой-нибудь, как он вообще туда попал?

– Ты как сюда попал, плохой мальчик? – Спрашивает вторая дама.

– А я здесь живу! – отвечаю я.

– Не ври, бессовестный, это же сад «Эрмитаж», в нем никто не живет.

– А я живу! Вон в том доме – Я оборачиваюсь назад, дома не видно, он спрятан за кустами и за высокой эстрадой.

– Никто здесь не живет! Какое безобразие! Родители бросили ребенка, в ресторан пошли выпивать, а он оказывает дурное влияние на хороших, воспитанных детей. Стыдно, стыдно должно быть. Пойдем Рафик.

Они тянут мальчика в белой рубашечке за собой и, каким-то виртуозным жестом, словно Олимпийский гимнаст, он повисает у них на руках, делает почти что полный оборот назад, и победно, почти что до тротуара высовывает язык, встретившись со мной торжественными черными глазами.

– Э-э-э, – Пятнадцать негрятят пошли купаться в море. Пятнадцать негрятят... – дразнюсь я.

– Мальчик, как тебе не стыдно? Вот мы сейчас вызовем милицию... – говорит первая тетя.

Я смотрю на желтое здание Петровки-38, милиционеров там более чем достаточно и я понимаю, что в нашем деле главное – вовремя смыться. Тем более, что около ограды уже останавливаются зеваки.

Через несколько лет дом наш снесли, родителям дали двухкомнатную квартиру довольно далеко от центра, зато в новом доме. Еще через несколько лет родители съехались с бабушкой, и мы мы оказались у черта на куличках, у самой кольцевой дороги.

Район, впрочем, был довольно приличным, видимо благодаря тому, что во времена Хрущевских новостроек здесь построили много кооперативов.

Однажды я обратил внимание на смуглого парнишку, учившегося в старшем классе. Звали его Рафиком. Детская память устроена странно. Однажды я увидел в школьном коридоре его полную маму, Любовь Ивановну, пропитавшую школьный вестибюль духами «Красная Москва». Запах этот вызвал цепочку ассоциаций и как вспышкой высветил полузабытое детское воспоминание.

Это был тот самый Рафик, сомнений быть не могло. Тогда меня это не удивило, мало ли что бывает. К тому же, в детстве совпадения кажутся естественными – целая вселенная кружится вокруг своего маленького мирка, состоящего из небольшого набора зрительных и чувственных образов.

Со старшеклассниками мы не пересекались, у них была совсем другая, взрослая жизнь. Ведь в детстве каждый год идет за десятилетие и отделяет одно поколение от другого. Это позже разница в возрасте становится незаметной.

В восьмом классе мальчишки начали покуривать. Курить в школе было нельзя, восьмиклассники прятались в мужском туалете на четвертом этаже. Четвертый этаж вообще был особенным, младшие классы сюда не допускали, стены коридоров были увешаны патриотическими плакатами, подготавливающими подрастающее поколение к службе в Советской Армии, вступлению в ВЛКСМ и к руководящей роли Коммунистической Партии.

Однажды после урока физкультуры мы наспех переоделись и побежали курить в туалет. Но нам не повезло: дверь распахнулась и на пороге показалась Галина Андреевна, наш завуч, известная своим дурным характером и склонностью к истерикам.

– Курите?

– Извините, Галина Андреевна, – мы смущенно спрятали окурки в руках.

– Да как же вам не стыдно. Будущие комсомольцы.

– Саня, сигареты в толчок спускай, – мой приятель Валерка, кажется, испуган.

– Ни хрена себе, я же сорок копеек в киоске заплатил, – мне стало до боли жаль коричневую пачку сигарет фирмы «Дукат». Сигареты «Камея», на пачке рельефно выступает античный белый женский профиль с завивающимися кудрями.

– И ты тоже курил? – Завуч решительно подошла ко мне. – Как же тебе не стыдно, пиджак оправь.

– Я больше не буду, Галина Андреевна .

– Пиджак у тебя грязный какой-то, что у тебя из нагрудного кармана торчит? – Галина Андреевна залезл в мой карман и неожиданно вытащила из него белую бумажку с расплывшейся розовой надписью: «Презерватив мужской. Цена: 4 копейки».

– Это. Это что? – Глаза у нее вылезли на лоб, лицо покраснело. Чем это ты занимаешься?

– Не знаю. – Я действительно не знал, откуда эта штука взялась в моем нагрудном кармане. Я с ужасом понял, что пиджак этот чужой, ведь когда я я переодевался после урока физкультуры, он еще показался мне тесным.

– Да это не мой пиджак. Это физкультура у нас была... – Я смутился.

Одноклассники с тайным восхищением и с завистью смотрели на меня.

– Про эту гадость... мы с твоими родителями разберемся. – Галина Андреевна помрачнела. Слово «эту» она произнесла брезгливо, в пол-голоса. – А ну-ка отдавай

сигареты! Немедленно!

Ах да, еще и сигареты... Моя Камея фабрики «Дукат» за сорок копеек с антично-мраморным профилем была разодрана на мелкие клочки и торжественно выкинута в урну.

– О комсомоле можешь забыть, – торжественно заявилп Галина Андреевна. – Мы тебя будем прорабатывать и воспитывать всем коллективом.

Генка, пиджак которого я по ошибке напялил на себя, ни в чем не признавался. Мама рыдала, педсовет принял решение о моем полном моральном разложении (и какой приличный был, надо же. В тихом омуте черти водятся). Единственное, что утешало – я иногда ловил на себе загадочные взгляды одноклассниц.

Меня послали на перевоспитание к старшим комсомольским товарищам.

Так получилось, что прорабатывал и воспитывал меня Рафик. Делал он это обстоятельно. Для начала он остался со мной в красном уголке, усадив за солидный стол с зеленым сукном. В углу комнаты стояли знамена, бюст Ленина. А на столе расположился графин с водой и два стакана, ни дать – ни взять сценка из старых советских фильмов.

– Ай-яй-яй, как нехорошо, – зацокал Рафик с восточными интонациями. Говорил он по-русски без малейшего акцента, видимо эти модуляции голоса были генетическими. – И оценки у тебя неплохие, и в комсомол бы пошел одним из первых. И жизнь вся впереди, а здесь такой прокол... Нехорошо. – Он в расстроенных чувствах налил из графина воды и выпил. – Да, недоработали мы. – Рафик потер щеку, на которой пробивалась густая щетина. Восточная кровь давала себя знать. – Ну, рассказывай, – он откинулся на стуле. – Кстати, хочешь бутерброды, мне мама сделала? – он достал из портфеля сверток.

– Спасибо, не хочу.

– Бери а то ты разволновался. Я, кстати, тебя понимаю, мы же мужчины, правда? – подмигнул он мне и похлопал по плечу. – Я тебе скажу, – перешел он на шепот, – если честно, это не преступление. Это – природа. Другое дело, что нельзя нарушать кодекс строителя нового общества. Женщина, она же тоже строитель, надо подходить к делу ответственно. Кушай, вкусная колбаса, маме в спецзаказе дали.

Рафик разломил бутерброд и почти что насильно заставил меня откусить от него кусок.

– Спасибо. Вкусно.

– Вот это другое дело. Ну, рассказывай, – он откинулся на стуле, заложив руки за голову.

– Да и рассказывать–то нечего. Я уже всем объяснял – взял в раздевалке чужой пиджак.

– Э, ты это брось. Зачем очевидные вещи отрицаешь. Кстати, молодец, – он подмигнул. – Относишься к последствиям ответственно. Но вот что куришь – нехорошо. Я, кстати, тоже курю. Но я старше тебя на год. Хочешь? – Он достал пачку «Столичных».

– Так мы же в школе.

– А, брось. Ты со мной. И потом, выветрится, никто ничего не заметит. Кстати, хороший табак. Мне друзья «Мальборо» однажды подарили, так себе. Наши сигареты лучше.

– Спасибо...

– Кури. Но никому не рассказывай. Это будет наш маленький секрет. Понял?

– Понял, – смутился я.

– Молодец. Ты хороший парень, а проступки у каждого бывают. Как говорил Фридрих Энгельс, ничто человеческое нам не чуждо, верно?

– Рафик, – смутился я. – А можно тебя спросить. Глупость конечно, детское воспоминание. Ты и не помнишь, скорее всего, а вдруг. Мне кажется, что я тебя встречал в детстве. Мы тогда в саду «Эрмитаж» жили, около Петровки, и был там такой мальчик, ну как тебе сказать, я ему язык показывал.

– Как не помню, помню конечно. Я тогда здорово обиделся... Ну и дела, выходит, мы с тобой с детства знакомы!

– Да мне до сих пор неловко, дурака валял.

– Нет, мы с тобой теперь друзья детства. – Рафик похлопал меня по плечу, от него пахло одеколоном, молодым телом, вчерашней яичницей с колбасой, подгоревшей на сковороде, и я вдруг почувствовал ауру чего-то родственного, почти что домашнего.

В этой незримой атмосфере свой был своим, и делал для своего уступки и поблажки, в ней было уютно и безопасно. Видимо, это ощущение клана осталось у людей от первобытных племен.

– Нет, ты хороший парень. Послушай, что я тебе скажу, – у Рафика на лице появилось выражение человека, знающего какой-то очень важный, недоступный простым смертным секрет. – Я тебе помогу. Зачем тебе жизнь портить с такой репутацией? Я в комитете комсомола не последняя величина, на следующий год думаю секретарем стать. В райкоме у меня связи, отец же у меня был большим человеком, если не знаешь... Потом расскажу. – Так вот, я помогу тебе. Проводи школьные политические информации. В субботу утром. Нагрузка небольшая. Я тебя научу – берешь газеты, читаешь первую полосу, ножничками вырезаешь. Зачитываешь. Месяца три, и никаких проблем с характеристикой не будет. Ты газеты читаешь, конечно?

– Читаю.

– Какие?

– Ну... – Вечернюю Москву, Литературку.

– Надо читать «Правду», «Комсомолку», «Труд» и «Красную Звезду». Вот, бери – Рафик открыл тумбочку, стоявшую в углу комнаты и достал оттуда пачку газет. – Сегодня среда, придешь завтра после уроков и покажешь свои вырезки. Все-таки ответственность, целая школа тебя слушать будет.

Я принес газетные вырезки и был утвержден на должность школьного журналиста. Рафик был мной доволен, похлопывал по плечу и вдруг рассказал историю своей семьи. Отец его был каким-то опальным деятелем компартии одной из недоразвитых стран, ошибочно вступивших на курс капиталистического развития. А дедушке его, верному слуге падишаха, или султана, однажды прислали шелковый шнурок на тарелке. Шнурком этим полагалось удавиться, что дедушка и сделал. А что ему оставалось – четверо детей, две жены, жаль будет, если их разрубят на кусочки. Поневоле проникнешься ответственностью за передачу генофонда последующим поколениям и верноподданнически удавишься.

Сыну за отца отомстить не удалось. Коммунистическое восстание провалилось. Другой стороне помогал сам президент, и к тому же конкретными долларами и винтовками М16. Неудавшийся коммунист оказался в Хрущевские времена в Москве, женился на Рафиковой маме, а далее история смутная. Согласно официальной версии он нелегально уехал на родину сражаться против антинародного режима и погиб с автоматом Калашникова в руках.

– Ну, хватит лирики, – пафосно сказал Рафик. – Дело отца не погибло. Мы его продолжаем. И ты тоже... Так что не подкачай.

На четвертом этаже школы была «радиорубка» с микрофоном, в который я тоскливым голосом зачитывал сводки новостей. Как ни странно, мои краткие политические информации полюбили: пробормотав содержание скучных передовиц, я умудрялся найти

в газетных листах забавные статейки, а иногда и грешил – придумывал новости, отпечатывал заметки на отцовской пишущей машинке. Уже не помню толком эти розыгрыши: то корове–медалистке международных выставок дали послушать диск «По Волнам моей памяти» Давида Тухманова, в результате чего она увеличила надои еще на двадцать процентов, то лесник передового лесничества Брянской области Петухов научил свою собаку обнаруживать городских браконьеров по запаху импортных джинсов, которые эти браконьеры и фарцовщики носили. Все мои розыгрыши пересказывались школьниками с восторгом и проходили без сучка, без задоринки, не вызывая подозрений.

Если пройти от Белорусского вокзала к центру по Тверской, через пару кварталов справа светился несвежими занавесками ресторан «Якорь», ныне там дорогая гостиница для иностранцев, а «Якорь» хотя и сохранил название, стал эксклюзивным рестораном морской кухни.

Раньше все было проще: слева – магазин «Пионер», за которым был переулок, там смутные личности из–под полы торговали дефицитными радиодеталями. И там же был райком ВЛКСМ. В этой точке пространства–времени всех идеологически незрелых школьников поголовно делали комсомольцами из пионеров.

Смуглый Рафик, вальяжно развалившись в кресле, кривил свои арабско–семитские губы и презрительно сообщал желчному первому секретарю ВЛКСМ, мечтающему о должности третьего секретаря КПСС: – Это наш, хороший кандидат. Советский в доску, готов всеми фибрами души труду и обороне. Я его лично знаю.

И кандидату выдавали значок.

В последний раз я встретил Рафика в майский день 1976 года. Я заканчивал девятый класс, и должен был отвезти какие–то ведомости в райком. Рафик прямой дорогой шел на заветную золотую медаль и очень положительные общественные характеристики. Он собирался поступать в Институт стран Азии и Африки, и, будучи сыном опального деятеля коммунистического движения тех самых стран, не сомневался в том, что туда поступит.

В тот день, в самом конце мая, прошел дождь, и от асфальта поднимался пар. Рафик стоял около киоска «Союзпечати» напротив Белорусского вокзала с еще одним парнем из десятого класса. Они жадно пили газировку и курили.

– Привет, какими судьбами! – Увидев меня, Рафик обрадовался и бросился обниматься. – Ну что, тебе еще год в школе трубить, а я вот, оттрубил свое, выхожу на большую дорогу.

– Ты в Азию и Африку поступаешь? – спросил я.

– Точно, – Рафик улыбнулся. – А Коля в МИМО. Вернее, мимо...

– Типун тебе на язык, – нервно сказал Коля. Лицо у него было бледным.

– Да не нервничай ты так. Я вот уверен, что поступлю. Зачем нервничаешь, зачем кровь себе портишь? Райком сегодня характеристики подписал, а значит у нас с тобой путевка в жизнь.

– Все у тебя просто. У меня батя обычный рабочий, не то, что у тебя, революционер...

– Слушай, да разве в этом дело? Надо быть уверенным в себе, в идеологии. Ты пойми... – От Рафика пахло потом, бензином, даже желтое пятно на его белой рубашке смотрелось изящно.

Я снова ощутил эту странную восточно–родственную ауру и вдруг увидел, как прочно Рафик стоит на земле. Ноги его, слегка искривленные, будто вросли в асфальт, воротничок белой рубашки выгодно контрастировал со смугловатой кожей. Дымок «Явы» окутывал его будто фимиамом. Казалось, Рафик наслаждается каждой затяжкой, каждым

глотком газировки из автомата, каждой секундой жизни, и чувствует себя ее хозяином.

– Вот, возьми, почитай газеты, – Рафик сунул мне в руку пухлую пачку пахнущих типографией бумажных листков. – Здесь все, что должен знать и каждый день впитывать. Вся информация, все новости. Прочитал передовицы – и подкован. И главное – знаешь, что и кому говорить, – он подмигнул мне.

Рафик поступил в Университет, в тот самый Институт стран Азии и Африки, а Коля в МИМО провалился. Больше мы не встречались, и траектории наши разошлись на много лет.

Двадцать восемь лет спустя я прилетел в Москву на неделю и носился по делам, лишь изредка бросая торопливые взгляды на город.

Я уже не помню толком, зачем мне нужно было выскочить на площадь около Белорусского вокзала, бесконечный эскалатор как и много лет назад пах машинным маслом. В вестибюле метро я вздрогнул от знакомого голоса. А потом увидел и его обладателя. Облысевший Рафик стоял около книжного лотка и был похож на гоблина.

– Новая серия «Убийцы без жалости», – завывал Рафик, как муэдзин с минарета. – Уникальный детектив, крутой сюжет, менты без страха и упрека. Покупайте, господа. Свежие газеты. Певицы «Тату» участвовали в оргии с Киркоровом – сообщает «Комсомольская правда». Коммунистов уже нет, но газета «Правда» пишет только правду.

– Рафик, – в голове у меня все перевернулось. – Рафик?

– А тебя легко узнать. – Рафик даже бровью не повел, как будто не было четверти века с лишним. – Какими судьбами? – Уникальные сексуальные приключения Маркиза де Сада. Эротика семнадцатого века. Узнайте, что творили ваши прабабушки! – Извини, работа такая. Коммерция, – шепнул он доверительно.

– Я проездом, живу теперь далеко. Ты когда освободишься? Столько лет не виделись.

– Давай встретимся часиков в семь.

Станным был этот вечер в дыму торфяных пожарищ. Мы сидели в какой-то шашлычной, пили вино и рассказывали друг другу свою жизнь.

В жизни Рафика были: институт, война (он работал военным переводчиком в Афганистане), предательство, любовь и смерть. Потом – пустота. Вакуум. Мама умерла, жена ушла, дочка росла где-то во Франции.

Рафик оказался на улице. Но образование помогло – он подрабатывал экскурсиями и продавал иностранным туристам художественные альбомы в Третьяковке, даже скопил на квартиру.

На него наехали. Жизнь и квартира остались. И книжный лоток, купленный за хорошую взятку. Милиция иногда принимает его за чеченца, от нее приходится откупаться.

Я долго рассказывал ему про свои переезды и мытарства, хотя на фоне его судьбы они выглядели тускло. Потом Рафик заказал бутылку коньяка. После третьей рюмки он задумался, начал тереть лоб и постукивать пальцами по столу.

– Рафик, все нормально? – спросил я.

– Я думаю. Я всегда думаю. Слушай, у меня идея. Помоги мне, а я помогу тебе.

– Какая идея?

– Значит так. Я газетами торгую. Газеты не все распродают, остаются старые. Бесплатно. Тысячи экземпляров. А у вас там русских много, ты же рассказывал.

– Ну и что? – удивился я.

– Ну как же. У вас там сегодня и вчера перепутались. Газеты хоть недельной

давности – все равно купят. По доллару, или меньше. Да даже по двадцать центов. Шесть рублей, ничего... Мы их выкидываем, а если получится будем реализовывать. Надо только придумать, как их к вам переправлять. Доход пополам, естественно.

– Рафик. – Мне стало смешно. – Это хорошая идея, но мелковата. Извини, я этим заниматься не смогу.

– Слушай, ваши эмигранты «Комсомолку» читали? Там теперь такое пишут, они себе даже не представляют! Да что они читали? Нет, верное дело, если его раскрутить.

– Рафик, почти все теперь на Интернете лежит. Нет, вряд ли что-нибудь выйдет.

– Я понимаю. Давай так договоримся – если найдешь кого-нибудь заинтересованного, сразу же мне звонишь. Обещаешь?

Мы долго прощались, обнимая друг друга, обменивались адресами и телефонами. Я улетал через два дня. Во время посадки в самолет «Аэрофлота» я взял несколько газет и глянцевого журнала, лежавших около прохода. Находясь на земной тверди я газет не читал, следуя совету профессора Преображенского. В результате часа три я гнусно хихикал. Я вспоминал тревожную молодость и многочисленные истории, рассказанные доверчивым школьникам из маленькой радиорубки на четвертом этаже. И даже слегка позавидовал ребятам, которые теперь рассказывают эти байки всей России.

Домой я добрался смертельно уставшим и сразу же заснул. Разбудил меня телефонный звонок.

– Алло! Алло!

– Это Рафик. Как дела? Долетел нормально?

– А, Рафик, привет. Ничего долетел.

– Слушай, я все про газеты. Я обо всем договорился, ты должен мне помочь. Завтра к вам привезут чемодан прессы, везет его парнишка с усиками, зовут Степой. Рейс прилетает в пять вечера. У вас есть такой магазин, то ли Самовар называется, то ли Петушок, русский, короче. Этот чемодан надо туда подвезти...

– Что-то со связью случилось. Алло? Алло? – закричал я. – Не слышно. Рафик, не слышно.

Рафик набрал мой телефон еще несколько раз и больше не перезванивал. Мне до сих пор перед ним неловко. Кстати, недавно покупал в русском магазине селедку с черным хлебом и обратил внимание на стеллаж с кучей русских газет примерно двухнедельной давности. А вдруг...

Я дал себе слово, что в следующий приезд в Москву я обязательно позвоню Рафику. И, может быть, подарю этот рассказ. Он парень хороший, вряд ли обидится.

Брат

1.

В детстве у меня был старший брат. Он был сыном отца от первого брака, а приемным отцом его стал адмирал флота Советского Союза и родной брат министра обороны одноименной державы.

Отцовские гены оказались довольно сильными, все мы похожи в чем-то на старшего брата – я, и даже мой старший трудный подросток...

Старший брат, как известно – образ, герой и модель для подражания. В майский день забытого шестьдесят какого-то года в свежестроенном кинотеатре «Нева», что возле «Речного Вокзала» показывали буржуазно-итальянскую комедию. Дети до шестнадцати лет на фильм не допускались, а брату уже исполнилось шестнадцать. Он был старше меня на десять лет.

Братан тайком курил сигареты, подмигивал мне и ухаживал за девушками. А я ждал взрослых, мама купила мне мороженое в киоске. Помню блочные двенадцатиэтажные башни с крылышками на крышах, что-то вроде пожарного хода. Рядом с кинотеатром тянулись пахнущие цементом пятиэтажки. Там мы увидели странную женщину. Она сидела около подъезда и качала в коляске куклу. Кукла была обмотана в тряпье, почернела и пахла гнилью, мне даже показалось, что это труп, или мумия, я толком не понимал, что к чему.

– Детинушка моя, кровинушка ни в чем не повинная, – раскачивалась женщина с ликом святой. Такие отрешенные лица бывали у монашек.

– Фильм, ну спасибо Вам. Клевый, слов нет. Телки – полный отпад, – сообщил раскрасневшийся братан, вывалившийся из запретного кинотеатра.

– Тише, дети здесь, – смутилась мама.

– Бабуся, ты чего куклу укачиваешь? – переключился братан. – Трагедия жизни?

– Бог тебя накажет, – сурово сообщила бабуся.

В исторической перспективе Бог наказал всех, грешников и невинных. А кинотеатр теперь принадлежит моему бывшему однокласснику, сыну профессора истории Индии не помню какого периода, отсидевшему пять лет в местах отдаленных за кражу зонтика.

2.

В школе братан не успевал, прогуливал уроки, слушал нехорошую музыку и валял дурака. К тому же, он начал толстеть и был замечен в употреблении горячительных напитков. Отчим возмутился и братана отдали в военно-морское училище. Летом он приехал в отпуск, похудевший в два раза. Отец жарил шашлыки, брат с наслаждением пил красное вино. Он рассказывал, как курсантов подняли ночью по тревоге – подавлять бунт в каком-то провинциальном городке. Бунт народных масс порожден был простейшей и понятной всем причиной: к Ноябрьским праздникам в магазины не завезли водки. Курсанты открыли огонь в воздух. Тут из района подвезли горячее жизни, и народный гнев мгновенно сменился на милость.

3.

Потом мой сводный брат стал работником политической пропаганды Северного Морского Флота. Он подкреплял идеологией матросов, плавающих на подводных лодках, он начал верить в то, что слово его – истина в последней инстанции. Помню, на Новый Год он был у нас в гостях, целовал меня крепким табачно-водочным духом и говорил странные слова. Про то, что с диссидентами надо расправляться безжалостно, что врагов государства надо уничтожать.

– Ну подумай сам, – пытался возразить отец. – Ты же знаешь, я всю войну прошел, пробитый осколками, контуженный. Но так же нельзя.

– Папа, – скрипел зубами брат. – Не ломай меня. Мне нельзя так думать.

После того вечера я долго сидел на балконе 12-этажной башни и смотрел на спиральные галактики с помощью подзорных труб и самодельных телескопов. Галактики убеждали меня в том, что по сравнению с вечностью все суета сует. Кстати, если уж речь идет о вечном, то книга Когелета (Эклезиаста) была и останется вечной несмотря на вопли десятка религиозных конфессий. Наш был человек. Впрочем, почему был?

4.

Жизнь военных людей тяжела. Атомная подлодка брата была послана на дальние рубежи нашей родины, в город Владивосток. А начальником флота в том городе был мой дядька, замечательный, усатый мужик, выжиравший два литра коньяка за пять минут и обожавший купаться в прорубях при двадцатиградусном морозе. Уж племянника-то адмирал в беде не оставил, и появилась у брата красавица Татьяна с напомаженными губами, чья-то дочка, то ли обкомовского секретаря, то ли горкомовского. И как это всегда бывает, у тех, кто уходит под воду появился наследник. Он начал расти, набух, попытался родиться и умер. Инфекция торжествовала в родильных домах Владивостока. Подлодка отлежалась у берегов Калифорнии, всплыла и вернулась к далеким берегам. Братан рыдал, но тут же сделал еще одного наследника и опять погрузился стеречь покой границ. Сын умер от врожденного порока сердца через два месяца после рождения. Брат начал пить. Предсказание сумасшедшей бабы с куклой сбывалось.

Третий сын родился и выжил. Он рос в Мурманске, потом в Москве, потом где-то у черта на куличках. Братан проводил под водой половину жизни, воспитывая советских матросов. Во время одного из погружений, у Татьяны прихватило сердце. – «Ой, пирог-то пригорает» – это были последние ее слова. Инфаркт ни с того, ни с сего. Племяннику моему тогда было восемь лет.

5.

– В конце семидесятых, – вздыхает брат, – был у нас кадр. Инженер из Питера, вроде тебя, потенциальный американец. Призвали его из института. Вроде, нормальный малый, ну ты же знаешь, тогда все были нормальными, кроме извращенцев. Это теперь все, блин...

– Знаю...

– Так вот. Сел он на рацию. А связь на подлодке – первое дело. Погрузились мы,

пошли своим курсом. Вроде бы, нормальный мужик. Здоровается, шифровки передает. И вдруг, недели две спустя, а мы уже в Атлантике шли, в кают-компании спрашивает: «А вы люки не забыли задраить?». Все смеются, мол, юморист, пошутил парень. Забыли об этом. Дежурство, месяц прошел, поднимаемся на поверхность в нейтральных водах, только начали опускаться – он тут как тут. Бегает, озабоченный. «Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться. А вы люки не забыли задраить?»

– Сергей Иванович, милый, да будет вам.

– Да я знаю товарищ капитан, а все-таки тревожно.

Вернулись в порт, тут капитан и говорит: «Товарищи офицеры, Сергей Иванович ценный технический специалист, хороший моряк, но со странностями. С таким плавать неудобно. Давайте-ка поставим вопрос о том, чтобы списать его на берег».

Все согласились. Устроили отходняк. Тут он и говорит: «Ребята, спасибо Вам за все, но знаете что? Вы только люки не забывайте задраивать!» И подмигнул мне.

И тут я понял, что он все время над нами издевался. Понимаешь, издевался! Над нами, надо всем. Сволочь, как я его не раскусил!

6.

Брат растолстел, потяжелел. У него «Жигули» устаревшей модели и квартира на Ленинградском шоссе, доставшаяся от отчима. Время от времени он пытается сделать бизнес, сводя знакомых с незнакомыми. Сын его подсел на наркотики и два раза в год лежит в реанимации.

– Слушай, а помнишь, как мы поехали за грибами? – спрашиваю я его. – Мне было лет пять, а тебе пятнадцать, и ты ухаживал за Ниной Короленко и целовался с ней в лесу.

– Господи, как ты это все запомнил.

– Привет. Отец нас отвез в лес на своей старенькой «Победе», а вы с Нинкой меня бросили среди папортников и начали лизаться. Знал бы ты, как мне было обидно. Я ведь там, под папортником нашел огромный белый, а ты его схватил и начал орать – «Смотрите, какой я гриб нашел!».

– Ну, прости меня, что ли.

– Да Бог с тобой. Только не плачь. Я тебя умоляю. Не плачь!

От него пахнет табаком и одеколоном. А я думаю, что моему поколению повезло – Дальше от Сталина, меньше от Брежнева, и ледяные вихри свободы. Которая осознанная сами знаете что.

Привет, Менгисту!

1.

Тяжелым выдался 1980 год. За несколько дней до новогодних праздников началась война в Афганистане. В начале марта где-то в далеких горах погиб Коля Рейзенбек, отчисленный из института за вольнодумство и тут же призванный к исполнению интернационального долга.

Два с лишним года Коля был лучшим моим другом, фанатичным коллекционером записей рок-музыки и любителем группы Queen. Несмотря на сомнительную фамилию, происходил он из осевших в России немцев. Коля поражал девушек длинными золотистыми кудрями, да и профиль у него был вполне арийский, вызывающий ассоциации с Вагнеровским Зигфридом.

Тогда, узнав о гибели Коли, я ушел с занятий. На улице падал пушистый снег, светились корпуса институтов, ходили троллейбусы, толпились студенты в пивной около рынка, через дорогу от военной кафедры, но Коли уже не было. А ведь всего несколько месяцев назад я был у него на дне рождения, играла музыка, мы пили вино, курили, целовались с девушками и жизнь казалась вечной. Ну, или по крайней мере ужасно длинной.

Летом того же рокового 1980 года в стольном граде Москве были назначены Олимпийские игры. По этому поводу страна надрывала пуповину, тут и там строились всяческие спортивные стадионы и сооружения, и никто еще не знал, что мы присутствуем при начале конца исторической эпохи, именуемой четырьмя буквами алфавита, прочтенными справа налево с двукратным нацистским заиканием: «СССР».

Поздним летом того же года, во время душной жары умер хриловатый Высоцкий. За его концерт в актовом зале школы чуть не выгнали мою любимую преподавательницу литературы. А какой славный был концерт, а как здорово он хрипел на Таганке, надрывая вены на шее. Добрый человек из Сезуана, в зале бродил Любимов с бледным лицом и в кожаной куртке.

Но человек по природе своей эгоцентричен. В феврале меня угораздило влюбиться в рыжую девушку Инну, и несмотря на катаклизмы, 80-й год прошлого века закружился поземкой вокруг ее ведьминых зеленых глаз.

2.

Черт его знает, как начинается это чувство, из какого странного инстинкта оно проистекает. По крайней мере не из инстинкта размножения. Несколько моих подружек того времени были весьма длинноноги и стройны, изумительно и с чувством выполняли предусмотренные природой функции, а также безусловно подходили для зачатия здорового и беспечного потомства, не отягощенного генетическими, моральными и прочими комплексами.

К грядущей Олимпиаде из студентов выбрали наиболее способных к иностранным языкам и начали обучать их по специальной методике, подготавливая будущих

переводчиков для буржуйских корреспондентов.

Английский я выучил самостоятельно. В те славные годы все иностранные голоса глушились напропалую, и кроме жужжания и редких слов в эфире ничего разобрать было решительно невозможно. Зато исконно английское BBC из града Лондона принималось в Москве прекрасно и не глушилось, поскольку средний советский человек английского языка знать не умел. Так и пошло-поехало, слово за слово, оборот за оборотом, и бормотание в радиоприемнике вдруг сложилось в связную человеческую речь с Оксфордским акцентом.

Инна училась в английской спецшколе, и училась неплохо. Мы попали в одну группу. Занятия проводились диалогами – мы разбивались по парам и болтали на заданные темы под присмотром преподавателя.

Была Инна тоненькой, огненно-рыжей с огромными зелеными глазами. И на третьем или четвертом уроке, после непринужденного обмена легким англоязычным стебом я почувствовал, что пропадаю. Да что там, пропадаю – задыхаюсь стоит только увидеть ее.

Я понял, что закрутило меня серьезно, когда однажды во время перерыва между лекциями понял, что должен немедленно увидеть Инну. Ее группа прилежно выполняла лабораторные работы в соседнем здании, я удрал с лекции и воровато приоткрыл дверь в лабораторию.

Инна была в белом свитере, она крутила ручки на каком-то приборчике. Как же грациозно она это делала, дыхание перехватывало. Черт его знает почему, я стеснялся и не мог заставить себя подойти к ней и пригласить ее в кино, в театр, на концерт, просто прогуляться.

Все решил случай, или, вернее, женская интуиция. Перед очередным занятием по английскому она проходила в коридоре, увидела меня, улыбнулась, подошла и вдруг сказала – «У тебя воротничок замялся» и ничуть не смущаясь поправила его, прикоснувшись будто невзначай к моей щеке.

– Спасибо, – непринужденно сказал я, хотя сердце трепыхалось, будто у меня начался приступ стенокардии. – Слушай, а ты сегодня вечером свободна? (Что же я делаю, – неслось где-то в глубине сознания, я сам удивлялся и ужасался тому, как слова выскакивают из меня) – может быть сходим куда-нибудь?

– Конечно, – улыбнулась она. После лекций встретимся у входа.

3.

Какой это был удивительный день. Глупость, наивные развлечения молодежи советского времени: мы пошли смотреть мультфильмы в «Баррикадный», был в те времена такой странный кинотеатр мультипликационного фильма, располагавшийся около площади Восстания. Мрачный Сталинский высотный дом, в котором впоследствии пересеклись наши судьбы, серое небо, из которого на землю падал мокрый снег. Инна проголодалась, мы зашли в гастроном. Гипсовые гроздья винограда и лепные амфоры периода культа личности свисали с потолков, здесь явственно стояли в своей торжественной и мрачной неприступности тридцатые годы.

За прилавком стоял продавец, будто сошедший с киноэкрана 50-х годов, странноватый парень в белом халате. От него излучалась обстоятельность, правота своего дела и присущая строителю коммунизма уверенность в завтрашнем дне.

– Гражданочка, вам батончик «Ситного»? – он ловко поворачивался и хватал хлебные овалы из лотка. – А вам, молодые люди за 13 копеечек? – Пожалуйста, проходите,

граждане, не задерживайтесь.

– Забавный тип, – хихикнула Инна. – Он здесь уже год с лишним работает, какой-то он, не знаю, как передать.

– Ископаемый. Как и все это здание. Гость из прошлого.

– Точно. Он будто из прошлых поколений.

– Как ты это все точно чувствуешь, я тебе поражаюсь.

– А я тебе.

Ну что оставалось делать, разве что воспарить к небесам, но проклятая сила тяжести не отпускала. Мы смотрели мультфильмы, я держал ее за руку.

Мультфильмы были хороши. Советская элита развлекалась, шедевр на шедевре, до слез, когда динозаврик говорил «папа, папа»...

Потом я провожал Инну домой. Жила она на Проспекте Мира, мы шли пешком от метро, перебегая улицу перед трамваями. Снег валил все сильнее, мы оказались на детской площадке, идти дальше было некуда. Зеленые глаза ее светились, меня прорвало – я говорил о том, какая она красивая, и мы поцеловались. И глаза ее сверкнули, будто из них исходил луч лазера...

С тех пор мы встречались почти каждый день. Мы ездили в метро и по эскалаторам, держась за руки и смеясь тому, что казалось понятным только нам.

Мы ходили на десятки концертов и театральных премьер. Мы заваливались к друзьям на дни рождения и свадьбы, покупая бездарные тортики в кондитерской около Тверского бульвара. Мы сдавали одежду в химчистку где-то у черта на куличках, за десятками трамвайных и железнодорожных путей среди талого снега. И нам было хорошо. Несмотря на то, что мы ограничивались лишь поцелуями. Как ни странно, мне этого хватало. Поэтические натуры вообще склонны к идеализации образа.

Но весной что-то сломалось.

4.

В первых числах мая мы шли от Проспекта Мира к Сокольникам. Справа был овощной магазин, потом мост, по которому рыча перекачивались самосвалы, а за мостом и железной дорогой начинались расцветающие кустики непонятной природы, и трава, и буйство природы.

– Инна, – я смотрел на нее. – Ты прекрасна. К тому же ты умна, а это уже совсем большая редкость, особенно среди женщин.

– Ну ты хватил, – она улыбнулась.

– Посмотри, как красив этот парк. Жизнь прекрасна, любой, наугад выбранный момент навсегда остается в памяти. Я читал где-то, что человеческая память запоминает все, в мельчайших подробностях, как видеозапись, каждую секунду, и, если напрячься, через много лет можно будет точно вспомнить, где лежала эта поломанная ветка, каждый листик на этой тропинке, каждое дыхание, каждый поцелуй. Представь себе, через двадцать лет ты просыпаешься, открываешь глаза, и видишь все, как будто оно происходит сейчас, в эту секунду.

– Сейчас попробую, – она закрыла глаза. – Это я пытаюсь вспомнить, как я была на даче, маленькой. Не-а, не получается, что-то колыхнется перед глазами, смутно как-то.

– Это потому, что мозг не дает людям прикоснуться к памяти. Как предохранительный механизм, иначе люди могут сойти с ума. Они потеряют представление о пространстве,

времени, и начнут жить прошлым или будущим, забыв о настоящем.

– Не знаю, – Инна замолчала. – Если это действительно так, как ты говоришь, то жить станет страшно.

– Ты права, – я на секунду задумался. – А я тебе сегодня говорил, мне иногда кажется, что я вижу не только то, что происходило со мной, но и умею читать память окружающих, давно умерших людей. Это так интересно, но и жутковато одновременно...

– А может тебе к врачу сходить? – Инна испугалась и как-то замкнулась.

– Да нет, не пугайся, это просто чересчур развитое воображение. – Я погладил ее по щеке, и Инна замерла. – Посмотри мне в глаза, – ее зрачки встретились с моими, я погрузился в них, и мы снова слились в поцелуе.

– Увидят же, – смущенно прошептала она, заметив трех мужиков, с решительным видом направляющихся в кусты.

– Да не до нас им, – я засмеялся. – Они распивать пошли после работы, отработали смену и отдыхают.

– Ну все равно, пойдем. – Мы обошли небольшой прудик и вышли на городскую улицу. Около входа в парк улица проходила по мостику над рельсами железной дороги. Под мостом прогрохотала электричка.

– Пошли, пошли, – прошептала она.

Уже стемнело, на улице зажглись фонари. Таинственен был этот район, желтый свет расплывался по мостовой, черные кусты шуршали сухими листьями, машины проносились мимо, освещая нас фарами.

– Красивый сегодня вечер, черт возьми, – я впитывал городские улицы, запахи и шорох автомобильных шин.

– Ой, слушай, в «Звездном» сегодня крутят «Несколько дней из жизни Обломова». Пошли?

– Пошли.

И понеслось. Штольц и Обломов, и нелепость, и радость жизни, и счастье, и снег...

– Я, кстати, за Штольца. За энергию и созидание. За готику и империю. Но тем временем понимаю, чувствую и даже сочувствую Обломову. Ведь это наше все, соединилось и слилось.

– Чушь какая-то. Все страдают, цыгане, пьянство, Надоел пьяный надрыв.

– Милая ты, но глупая. От себя не уйдешь.

– Я уйду. Надоели, идиоты. И ты тоже. В глазах ее стояло странное выражение, словно что-то, давно сдерживаемое прорвалось изнутри. – Ты знаешь, я давно хотела тебе сказать. Я не хочу больше с тобой встречаться. Я боюсь тебя.

5.

Нокаут был настолько болезненным, что не доходил до сознания несколько минут.

– Что?

– Что слышал. Ты слишком опасен.

– И для чего же я слишком опасен? Для здоровья?

– Для будущего.

– Ааа. Понятно. Для будущего. Будущее размажет нас манной кашей по краю тарелочки и не поморщится. Инна, ты же..

– Что я?

– Ты же выше, умнее.
– Ничего не знаю. Я хочу жить сейчас и здесь!
– Инночка, милая, ну какого черта!
– Вот заладил. А кто я? Кто? Я обычная женщина. Я хочу замуж, да. Хочу детей. Хочу нормальной жизни. И смотрю на тебя, и думаю, с этим мне только в Сибирь как женам декабристов. А жизнь одна, понимаешь, одна! И другой не будет.
– Ах, как часто слышал я эти аргументы, – нахмурил я брови.– Радость мещанина, двухкомнатная квартирка в Чертаново, хрипло играет радиоточка, пахнет подгоревшим маслом, располневшая жена в засаленном халате готовит яичницу, орут дети. Счастье простого советского человека.
– Вот в этом ты весь, на нормальных людей тебе наплевать.
– Инна, во–первых не наплевать, во–вторых ты не из этого клана.
– А откуда ты знаешь? Почему ты взял себе право судить тех и этих, и вообще кто ты такой?
– Не смей. Я тебя умоляю.
– Извини, я все решила, – слова эти из ее волшебных губ были тем более обидны...
– Какая глупость. Смотри, не пожалей.
– Я ? Я пожалею?
И мечта жизни моей, хрупкая и поэтическая Лаура кисти Ботичелли в одно мгновение превратилась в огнедышащего дракона.
О, Боги... Высокое и низкое, вода и огонь, я почувствовал, что земля горит под ногами и еще подумал: зачем же теперь жить.

6.

События последних дней меня подкосили. Я сидел дома на пятом этаже хрущевской 12–этажной башни и третьи сутки пил разведенный медицинский спирт. Из мещанского трюмо темного дерева пятидесятых годов на меня смотрела опухшая физиономия. Все это казалось пошлым и неестественным, будто происходило с кем–то другим. Я набирал ее телефон, она бросала трубку.

Все было как во сне, и в сне этом неслись электрички и трамваи, а мы с Инной создавали странные туннели во времени и пространстве. Куда бы не заносила нас судьба, где бы мы ни целовались, или не шли в обнимку, чувствуя друг друга единым целым, в переходах метро, на Петровке и переходах с Кольцевой на радиальную, всюду в пространстве навечно повисли розовые, светящиеся туннели, подобные тем, которые прорывают муравьи в гигантском муравейнике. Мы были там всегда, в этот полуночный час, смеясь проходя по переходу, и несколько месяцев спустя, тоже смеясь пробегая обратно, и в кафе на улице, и около уличного киоска, и здесь, в этом углу за эскалатором, и около той колонны, и за Метрополем, и уж среди совершенно затерянного пространства между Лосиным Островом и кинотеатром «Звездный». И каждый раз, проезжая по этим местам, вернее, пересекая эти забытые, светящиеся розовым светом траектории, я улыбался, чувствуя мягкий, розовый комок тепла, ударяющий в лицо.

Уже не помню как я оказался около ее дома и рассказывал ей об этом, о следах и траекториях, о времени и пространстве, о том, что все было и будет, и нет ничего нового, просто все те же запутанные траектории повторяются в каждом поколении, и на секунду ее зеленые глаза зажглись. Но тут же погасли. Духовного трения не хватало для химической реакции души.

Что-то пошлое и стандартное сказала она: «Я не знала, что ты так чувствуешь», «Извини», «Время все исправит».

Лицо ее было помятым и чужим. На улице стоял туман, в переходах около станции железной дороги пахло «Беломором» и вениками.

– Можно я тебя поцелую в последний раз?

– Целуй, – зевнула она. Губы ее были вялыми и чужими.

7.

В летней пыли пронеслась мимо Олимпиада: костюмы, пластиковые карточки-пропуски, валютные бары, финские соки, корреспонденты, первые аппараты-факсы, у которых бумага приводилась в движение огромными зубчатыми колесами и куча бездарных чекистов. Чекисты искали бомбы.

Потом наступила осень. Холодные дожди. Дни катятся, неразличимые друг от друга. Я сижу в аудитории, невнимательно слушая похожую на попугаиху преподавательницу очередного политико-экономического предмета, а на самом деле рассматриваю окна расположенного напротив научно-исследовательского института. Он пяти- или шестиэтажный, выложенный крупным розовым кирпичом, с большими, во всю стену стеклянными пролетами. Там кипит, а вернее медленно протекает жизнь.

С утра в комнату на четвертом этаже приходит молоденькая девочка, скорее всего лаборантка, она снимает свое пальтишко, натягивает на плечи белый халатик и первые несколько минут делает вид, что разбирает бумаги на столе, перелистывая страницы лабораторного журнала. Потом она достает из сумочки косметический прибор и старательно подкрашивает губы, рассматривая себя в маленькое зеркальце. После этой обязательно повторяющейся каждое утро процедуры, девочка звонит по телефону, либо своему кавалеру, а скорее всего подружкам, прикрывая трубку рукой и проводя у в этой позе не менее сорока минут. Телефонная идиллия заканчивается всегда одинаково: в комнату заходит пожилой мужчина, тоже в белом халате, скорее всего ее начальник. При этом трубка торопливо опускается на телефонный аппарат, девочка вскакивает, демонстрируя озабоченность происходящим, и начинает щелкать переключателями большого шкафа, стоящего в глубине комнаты. Потом она о чем-то разговаривает с начальником, и тот удовлетворенно уходит. Лаборантка опять для виду пару минут стоит около шкафа, потом со скучающим видом садится за стол и снова берет трубку.

Через два окна от нее расположен кабинет начальника, скорее всего директора этого славного учреждения. На стене у него висит большой портрет Ленина, рядом расположился Брежнев, которого нельзя не узнать даже издали благодаря патологически густым бровям, а сбоку висит еще один портрет, я не могу разобрать лица, но почти уверен, что это Дзержинский.

У директора в кабинете длинный деревянный стол, и с завидной постоянностью он не менее двух раз в день собирает сотрудников на совещания. Люди с тетрадочками усаживаются, а директор встает со стула и что-то долго проникновенно им рассказывает. К концу своей речи он неизменно начинает резать руками воздух, стучать кулаком по столу, а потом обессиленно усаживается обратно в кресло, отпуская сотрудников на волю.

Жизнь проходящая за окнами неозвучена, это как будто немое кино, в котором нужно догадываться о том, какие роли играют в нем люди, мелькающие за тусклым стеклом.

Приходит в голову, что и я, сидящий в этой аудитории, ничем не отличаюсь от этих

марионеток в доме напротив.

8.

В канун 7 ноября мы напились в студенческом общежитии, и тут я вспомнил, что ровно год назад Коле исполнилось 20 лет. То ли чрезмерное количество выпитого спирта давало себя знать, то ли я погрузился в то редкое астральное состояние, в котором иногда находятся йоги, но день этот врезался в сознании каждой прожитой секундой и потек по кругу, никогда не прерываясь.

Лекция закончилась, и в опустевшем холле института, около раздевалки, пахло влажным снегом. Коля только что получил у гардеробщицы свое пальто и обвязывал шею длинным, красным шерстяным шарфом. Продавщица в книжном киоске погасила свет и, склонившись над столом, копалась в сумочке. На улице начинало темнеть и снежинки кружились в свете фонарей, покрывая землю девственно-белым нетронутым ковром.

– Мне только что принесли последний диск «Queen», – Коля достал из кармана пачку «Явы». – Будем отмечать мой день рождения, заваливайся ко мне.

– Спасибо, – пойти к Коле ужасно хотелось, но предстояло объяснение с родителями. – Я только домой позвоню. А чего принести?

– Да не надо ничего, у меня есть пара бутылок вина. Ну, если хочешь, тащи еще одну, напьемся.

В телефонной трубке звучал слегка испуганный голос мамы, просившей меня приехать домой не слишком поздно, но трубка была уже повешена и я чувствовал радостное возбуждение, освобождение от условностей жизни и предвкушение вечеринки.

Добираться к Коле надо было на метро, потом на троллейбусе. От остановки в глубь домов-колодцев вела тропинка, протоптанная гражданами империи между голых веток замерзших кустов. Старый кирпичный дом довоенной постройки оседал на сугробы подъездом под проржавевшей крышей, темная лестница вела к деревянной двери, из-за которой раздавалось глухие удары музыки.

Я нажал на кнопку звонка, дверь открылась и на пороге возник Коля с сигаретой в зубах, все еще замотанный в длинный красный шарф. В квартире было накурено, на полу сидели несколько ребят и девушек, и вокруг грохотала музыка. Музыка эта мгновенно захватила меня, она совпадала с ритмом ударов сердца, резонировала в сознании, и от нее веяло манящей свободой духа. Я, как загипнотизированный, протянул Коле бутылку грузинского вина, и, снимая пальто, кинулся в комнату.

– Ага, я же тебе говорил! – Коля был доволен. – Это как будто бы ты погружаешься в другую жизнь.

Песни заканчивались, после них начинались следующие, одна другой лучше, ударник посылал то звенящие, то глухие удары в колонки, и я уже ничего не видел вокруг, закрывая глаза и взлетая вверх с каждым аккордом.

– Это мой друг, – представил меня Коля. Чего будешь пить? Портвейн сойдет?

– Сойдет, сойдет, – я продолжал вслушиваться в мелодию, пытаюсь разобрать английские слова.

Пластинку докрутили до конца и снова поставили на первую песню. Портвейн слегка ударил в голову, пространство размягчилось, свет настольной лампы начал слегка колебаться, освещая сидящих на полу, и я понял, что девушка, сидящая рядом со мной красива. Я поглядывал на нее, она сидела, обхватив ноги, ее светлые волосы были

скреплены сзади заколкой. У нее были острые плечи, чувственные губы, слегка согнутые в уголках, она курила, оставляя красные следы на сигаретных фильтрах, и медленно потягивала вино из бокала. Как это обычно бывает, она замечала мой заинтересованный взгляд и изредка ее глаза встречались с моими. В этот момент на губах ее возникала слегка циничная улыбка, адресованная в пустоту и одновременно мне.

Гудели басы, хриплый голос певца разрушал привычные барьеры, то переходя вниз, то срываясь на дисконт, заставляя сердце следовать ритму музыки. Грязный двор, старые кирпичные дома и тускло освещенные троллейбусы, прокладывая свой путь по улицам заснеженного города, навязшие в зубах программы телевизионных новостей, насыщенные партийными хрониками, уходили в небытие. Здесь, в этой комнате, существовал настоящий мир, мир свободы, лишенный условностей, мир, в котором человек, независимо от окружающей его социальной системы искал свое место в жизни, завоеывая окружающее его пространство, противостоя невзгодам жизни и побеждая природу.

– Хорошо играют, – нарушил молчание Игорь. – Аппаратура у них классная, чувствуешь как гитары звучат?

В этот момент пластинку перевернули и все мы услышали новую песню, настолько захватывающую, что все замолчали, вслушиваясь в извергающуюся из динамиков мелодию. Это был уже не рок, вернее рок, но мелодия напоминала классическую симфонию, тут и там вступали скрипки, сопровождаемые органом, на фоне которого электрическая гитара и барабаны казались совершенно естественным дополнением оркестра. Почему-то от этой песни хотелось плакать, петь, слезы выступали на глазах, то ли из-за небесной красоты и скорби этой мелодии, то ли из-за выпитого алкоголя.

– Эх, черт, проняло. – Коля сказал это сдавленным голосом и мы все увидели, что музыка подействовала на него так же, как и на нас, и перестали стесняться своих чувств.

– За свободу, друзья! – Коля разлил вино по стаканам. Гостям уже было хорошо, все снова закурили. Сигареты остались только у меня и, протягивая пачку Яне, я снова встретился с ней глазами. Она откликнулась на мой взгляд, какое-то шестое чувство говорило мне это, заставляя замирать и обрываться что-то внутри.

Мне казалось, что эта компания, собравшаяся в прокуренной комнате, близка мне, что эти девочки чувствуют то же, что и я, что все мы прорвались в какой-то другой мир, манящий открытыми горизонтами и отличающийся от серой слякоти, ожидающей нас на улицах.

Вторая сторона пластинки закончилась, и Коля поставил предыдущий альбом той же группы. Пластинка была заезжена, но сквозь хрипы и шуршание иглы прорывалась музыка, заставляющая душу взлетать к небесам.

– А ты с Колей вместе учишься? – Компания разбилась на маленькие группки, что-то оживленно обсуждающие, и я с радостным изумлением заметил, что мы с Яной стоим на кухне, стряхивая пепел в слегка проржавевшую раковину и прислушиваясь к аккордам, доносящимся из комнаты.

– Да, а ты его давно знаешь?

– В школе вместе учились. Я заслуженный комсорг нашего класса...

– Так ты здесь недалеко живешь?

– Да, живу я рядом, а поступила в Университет, на химфак.

– Нравится?

– Ничего... А тебе?

– Как тебе сказать, так... Вроде бы ничего. Я тоже в Университет поступить хотел, но меня туда не взяли.

– Не расстраивайся, немного потерял. И вообще, все это чепуха

– Музыка красивая, – я снова застыл, прислушиваясь к раздающейся из комнаты мелодии.

– А ты играешь на чем-нибудь?

– На фоне, немного занимался в школе.

– А я на скрипке училась.

– Я никогда на скрипке играть не пробовал.

– Сложный инструмент, но когда научишься, это здорово.

– Никогда до сих пор не видел девушку, умеющую играть на скрипке, – я чувствовал, что меня влечет к ней, и что я начинаю заигрывать.

– Ну и как, нравится? – Яна скептически улыбнувшись посмотрела на меня, и в груди что-то екнуло.

– Ничего, вполне симпатичная, – сердце начало стучать. Я ожидал ответной реакции, чувствуя, что от следующих слов будет зависеть все остальное.

– Нет чтобы сказать, что замечательная, – она засмеялась.

– А ты замечательная, только вот комсомольский лидер, – я положил ей руку на плечо. – Не знаю, как с этим примириться.

– Не издевайся, – она попыталась увернуться, но глаза ее снова встретились с моими и ее губы приоткрылись. Этого уже выдержать было нельзя и мы поцеловались.

– Эй, эй! – Коля некстати появился на кухне с пустыми стаканами, – Ну что за народ такой пошел! Яночка, нельзя же так, ей богу!

– И это ты мне говоришь? – Она подмигнула мне. – А помнишь как ты на выпускном вечере Ирку соблазнял?

– Грехи молодости, что поделаешь. – Коля посмотрел на меня. – А ты зачем уводишь моих лучших подруг?

– Иди к гостям, чего пристал, – засмеялся я.

– Ну ладно, ладно, – он с ухмылкой взглянул на нас, поставил стаканы в раковину и исчез в комнате.

– Ты мне определенно нравишься, – я снова попытался поцеловать ее.

– Вот так вот, на кухне... – Она усмехнулась.

– А что ты думаешь, кухня в жизни человека занимает почетное место. На ней он принимает еду, да и потом, по русской традиции ругает правительство, целуется, занимается любовью... – Последние слова выскочили из меня как-то невзначай, и я сам испугался сказанного.

– Ну, это уже слишком, – Яна замкнулась и сбросила мою руку с плеча. – Пойдем лучше в комнату.

– Прости, – я чувствовал себя идиотом. – Прости пожалуйста.

– Ты что обо мне думаешь? – голос ее стал жестким.

– Извини, вырвалось как-то по-дурацки. Слушай, ты мне правда ужасно нравишься... Давай потанцуем. – Я обнял ее за талию, щелкнув выключателем.

Стало темно. Из комнаты доносились голоса, музыка была медленной, ее волосы пахли свежестью, я чувствовал мягкие движения ее талии, прижимая ее к себе, и целуя, каждый раз удивленно отмечая про себя, что влюблен. За окном светились желтоватым светом окна, фонарь отбрасывал тень на сугробы.

– Перестань, – смеясь говорила она, отталкивая меня, и мы прислушивались к друг другу, к музыке, к ощущению счастья, и хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Время от времени на кухне появлялся Коля, весело подмигивая нам и засовывая пустые бутылки куда-то под раковину. Потом он снова исчезал и мы останавливались в каком-нибудь углу, смотря друг на друга, и начиная словесную дуэль.

– Ну что, ты думаешь, девочка отпала? – она иронично смотрела на меня. – Думаешь, ты такой неповторимый и замечательный, что я в первый же вечер в тебя втюрилась?

– Я безусловно неповторим, и замечателен, и еще черт его знает что, – мое красноречие не знало границ. – И тот факт, что ты мне определенно нравишься, еще ничего не определяет.

– Нахал! – она морщила носик. – Обычный московский недоросль, любимое дитя в советской семье простых тружеников, правда слегка обнаглевшее от близости податливой девочки.

– А девочка эта выросла в семье Рокфеллеров, случайно застрявших в России, и на самом деле привыкла к замкам на берегу океана, Роллс-Ройсам, лакеям в лайковых перчатках. Она только для виду изображает из себя скромную студентку, пришедшую в приятную компанию послушать хорошую музыку, которую обычно в СССРе не достать.

– А может быть и так, тебе откуда знать? – Она доставала новую сигарету из пачки.

– Послушай, мы не в школе, – Я сжал ее плечи и она вздрогнула. – Я не хочу тебе врать, ты мне ужасно нравишься. Но мне никогда не было так хорошо...

– Ты что имеешь в виду? – Яна иронически улыбнулась.

– Ну как тебе объяснить, человеческие существа получают удовольствие еще и от общения, от мыслей.

– Так ты про это? – Она начала хохотать, прикрыв лицо руками.

– Я тебе сейчас покажу про что! – Я разозлился и схватил ее за волосы.

– Эй, вы чего здесь делаете? – Коля появился с очередной пустой бутылкой, щелкнул выключателем и подозрительно посмотрел на наши покрасневшие лица.

– Беседуем, – сорвавшимся голосом сказала она.

– Ну и ну, – Коля иронично посмотрел на нас. – Ну беседуйте дальше, – он выключил свет и исчез в коридоре, затем прибавил мощности в проигрывателе и музыка снова волнами захватила нас.

– Прости, – мне было неловко.

– За что прости? – голос ее был чуть хриловатым. – Ладно, пойдем в комнату, что-ли.

– Пошли, – Я ухватился за эту спасительную идею. Гости были уже порядочно пьяны и с откровенным интересом посмотрели на нас. На наших лицах застыло неестественное выражение, совсем не заставляющее предположить, что мы всего навсего выкурили сигаретку на кухне. Мы поддерживали непринужденную беседу и только изредка я бросал на Яну откровенные взгляды и она, словно пойманная лучом прожектора, замирала на секунду.

Стало поздно и пора уже было уходить. Шум затихал, проигрыватель прохрипел и щелкнул, приподняв звукосниматель, гости толклись в коридоре, мы напяливали меховые шапки. Я подал Яне пальто, заметив как непринужденно она поправляет воротник. Скрипя открылась дверь подъезда и мы оказались под морозным и звездным небом. Музыка еще звучала в наших ушах, проигрываясь в такт скрипу снега под ботинками.

– Яна, – мы оба чувствовали себя неловко. – Я тебя провожу.

– Ну проводи, – она поежилась.

– Тебе холодно?

– Нет, ничего... – между нами возникла странная отчужденность. Я вдруг почувствовал, что не могу выдать из себя ни одной фразы, судорожно пытался вспомнить хотя бы пару анекдотов, но Яна лишь морщилась и я замолчал, ругая себя за бездарность.

– Так, мы уже пришли. Мне пора домой. – Мы остановились у подъезда пятиэтажки с

выцветшим плакатом «При пожаре звоните 01».

– Так мы завтра встретимся? – Я ничего не понимал.

– Уезжай...Уезжай, пожалуйста...

– Яна, – желание, ревность, боль и еще непонятно какие эмоции овладели мной. – Пожалуйста. Я хочу тебя увидеть.

– Вряд ли ты это поймешь. Я боюсь чувств. Меня к тебе потянуло, если честно. Я не знаю, как тебе это объяснить, я просто ничего не хочу сейчас, я слишком устала. У меня недавно была очень тяжелая история с парнем, которого я любила, понимаешь?

– Понял. Мне уйти? – Лестничная клетка расплылась перед глазами.

– Иди.

– Яна. Можно тебе еще раз позвонить?

– А какой смысл? – Она помрачнела.

– Не думай обо мне плохо.

– Уходи, пожалуйста, – она была потеряна. И обещай мне, что не позвонишь.

– Хорошо, будь счастлива, – Я погладил ее по щеке и вышел на лестничную клетку.

«Мама, купи мне паровозик», – услышал я детский плач и мимо меня прошел заплаканный ребенок в шубке, поднимающийся куда-то вверх по лестнице.

«Вот и все», – подумал я, – « Так оно все навсегда и останется в этой дурацкой трагической безысходности, мечта прошедшая мимо, а она рядом, здесь, за этой дверью». – Я даже уже почти что вернулся, постояв около дермантиновой двери, преодолевая искушение позвонить в звонок, но, отрезвев, спустился и вышел в неприветливый замерзший двор. Троллейбус пришел на удивление быстро и в моих ушах зазвучала музыка, впервые услышанная мной вчера.

Я часто вспоминаю ее и этот день, быть может, не уйди я тогда, и наши судьбы бы изменились. Около этой кнопки звонка висела в воздухе судьба, но мне тогда было не суждено ее изменить. Я больше никогда ей не позвонил, вернее позвонил через неделю, мучаясь, но услышал мужской голос и трусливо повесил трубку.

Через пару лет Яна вышла замуж за какого-то сына арабского шейха и уехала то ли в Йемен, то ли в Саудовскую Аравию. Пластинка с пронизывающими сердце песнями навсегда осталась в моей памяти связанной с ней, поэтому когда лет пятнадцать спустя я оказался в огромном магазине на самом краю света, я не задумываясь пошел вдоль рядов, пока не увидел запыленный компакт-диск со знакомыми записями. Диск стоил довольно дорого, но я засунул кредитную карточку в щель электронного аппарата и подписал чек. Певец с хрипловатым голосом стал знаменитым и уже давно умер, сломавшись от неуютности человеческой жизни, а его записи стали классическими. Мелодии эти были любимы уже несколькими поколениями, живущими на всех континентах, но только у нас двоих на планете они вызывали в памяти этот зимний вечер.

9.

За неделю до ноябрьских праздников начался снегопад. Наш курс сняли с занятий и в полном составе послали приветствовать лидера партии социалистического возрождения Эфиопии товарища Менгисту Хайле Мариама. По замыслу партии и правительства, советский народ, рабочие, студенты и интеллигенция должны были с энтузиазмом размахивать эфиопскими флажками вдоль трассы следования товарища Менгисту, демонстрируя дружбу народов и единство прогрессивных сил всего человечества.

Во избежание накладок нас привезли на трассу следования эфиопского вождя заранее. Махать флажками и демонстрировать теплые чувства мы должны были напротив Дома на Набережной. С неба валил снег, я курил сигарету за сигаретой, вспоминая губы и зеленые, светящиеся глаза Инны.

– Разве это город? – Леня, мой приятель уже окончательно решивший сваливать из СССР занимался садомазохизмом. – Разве это страна? Мы все рабы. Все до единого, сказали махать флажками черной обезьяне – значит будем махать. Посмотри, здесь нет никакой архитектуры кроме Сталинской, замешанной на крови.

– А дом Казакова? А Ленинская библиотека? А Кремль? А набережная? – вяло отвечал я.

– Все, все от начала до конца истории – сплошная тирания. Собор Василия Блаженного – памятник деспотизму. Лобное место, все на крови. Все в крови.

– Да брось ты, красивый город. И потом, любой большой город построен на крови, так устроена цивилизация.

– Ненавижу, – фыркнул Леня. – Это не моя страна. Я здесь чужой, я хочу быть свободным.

– Черт его знает, это конечно не Европа, – соглашался я, но все-таки ты неправ.

– Европа, – насмешливо фыркнул Леня. – Европа мертва. Америка. Только Америка!

– «Бог сейчас в Италии», – вспомнил я «Иудейскую Войну» Фейхтвангера. – Брось ты, ерунда все это.

Леню я встретил двадцать лет спустя в Лос Анжелесе. Он жил в маленькой съемной квартирке с грязными синтетическими коврами, облысел, нажил брюшко и приобрел откуда-то противный местечковый акцент. Работал Леня санитаром в больнице, он дежурил по ночам (за ночную смену больше платили). Он считал Лос Анжелес лучшим городом в мире и старательно делал вид, что доволен своей судьбой.

Я не стал его расстраивать, и даже не сказал ему, что Лос Анжелес отвратителен. Каждый человек кузнечик своей судьбы.

– Товарищи студенты, правительственный кортеж приближается!

– Ура, – нестройно грянула толпа, эфиопские флажки замелькали по обоим сторонам проспекта.

Появились черные правительственные ЗИЛы, припорошенные свежим снегом. За тонированными стеклами сидело что-то лилово-черное и махало ладошкой.

– Ура! Да здравствует дружественный народ Эфиопии.

– Эфиоп, твою мать, – брякнул кто-то.

– Разговорчики! Да здравствует товарищ Менгисту Хайле Мариам!

– Ура!

– А чем, скажем, отличается Менгисту от Мангусты?

– Товарищи студенты, с энтузиазмом машем флажками дружественного эфиопского народа.

Кортеж правительственных машин направился по Каменному мосту в Кремль, мы начали расходиться. И тут замела настоящая метель.

Я бросил снежок в Леню, сбив с него шапку. Он начал материться и бросаться снежками в меня, потом Дом на Набережной скрылся в белой пелене, и остались только чугунные решетки и фонари.

И я почувствовал то, что чувствовал несколько раз в жизни – единство прошлого и будущего, дежавю, это странное ощущение того, что все уже было и будет: и черно-

лиловый Менгисту Хайле Мариам, как и Хайле Селлассия первый, давно ушедший в небытие, и эта метель, и Пушкин с прадедом Ганнибалом, и призрачные дореволюционные извозчики, летящие к Кремлю, и старые фотографии, которые я буду рассматривать в далеком будущем, и вечно молодая Инна, и вкус ее губ, и эта метель, которая в конце концов покроеет и смешает все и скорее всего приснится мне накануне моей смерти.

И еще я понял, каким-то шестым чувством, что вместе с Менгисту промчалось в черной машине прошлое и начинается будущее, которое мало чем будет отличаться от прошлого, по крайней мере вряд ли будет лучше.

10.

В начале декабря того же 1980 года в доме на площади Восстания, на 22 этаже случилась свадьба моего однокурсника с моей же однокурсницей. Свадьбе предшествовала обычная суета: церемония в Грибоедовском ЗАГСе с непременным свадебным маршем и советской тетенькой в стиле ткачих-ударниц производства, напутствующей молодоженов. Потом было застолье, танцы под пластинку, многочисленные дети и вдруг в толпе гостей появилась Инна. Она была со смазливый самодовольным парнем в кожаной куртке, располнела, и как мне показалось, была беременна.

– А это моя троюродная сестричка, Инночка, знакомьтесь, – радостно сообщил счастливый новобрачный.

– Мы знакомы, – сухо сказал я.

– Вот как? Откуда? – допытывался мой однокурсник.

– Так, вместе английским занимались...

Я вышел на лестницу покурить и заметил, что руки слегка дрожат. Докурив сигарету я ушел домой. Больше я Инну не встречал, не знаю, что с ней стало. Вроде бы она родила ребенка и взяла академический отпуск.

В прошлом году в Калифорнию заезжал мой однокурсник, который был на той студенческой свадьбе. Мы уговорили бутылку коньяка, напились кофе и в расслабленно-возбужденном состоянии начали вспоминать молодость.

– Кстати, помнишь... – он назвал бывшего молодожена. – Вроде бы Шурик в Канаде теперь неплохо устроился. И еще сестренка его троюродная с мужем, может быть помнишь ее, рыженькая такая, тоже в нашем институте училась. Кстати, у меня для тебя сюрприз, вот фотографии с его свадьбы.

Какими же мы были странными четверть века назад, я не мог узнать самого себя, и друзей, хотя помню все, как будто это было вчера.

Инна тоже попала на эту фотографию, на ней она осталась молодой. Я хотел было попросить у него эту снимок, но решил, что это ни к чему. Лица ее я уже не помню, только светящиеся глаза, а это самое главное и бывает считанные разы в жизни.

11.

Числа десятого декабря 1980 года я собрался с силами и наконец поехал навестить родителей Коли. Я ехал на троллейбусе мимо серых домов, потом стоял около знакомого

мне подъезда. Мне вспоминался зимний вечер, альбом «Queen», громыхавший в комнате, Коля, с шеей обмотанной шерстяным шарфом и Яна. Комок стоял в горле, сухонькие старички поили меня чаем с засохшими миндальными пирожными, и я чувствовал себя неловко.

Судя по рассказам Колиных товарищей, они проезжали какой-то полуразрушенный кишлак, и древний аксакал бросился навстречу машине, крича «Урус, урус» и показывая на подбитую машину и лежащие рядом тела убитых солдат. Коля выскочил из УАЗика и тут же был прошит автоматной очередью. Партизанская война...

После чая Колины родители усадили меня на диван, и начали показывать альбом с фотографиями. Я смотрел на черно-белые фото школьного выпускного вечера, узнавая ребят, собиравшихся в этой квартире чуть больше года назад, потом обещал старикам помочь, если что-нибудь понадобится. Они хотели поехать вместе со мной на кладбище, но этого я уже не мог выдержать, и извинившись ушел.

На кладбище я поехал тем же вечером. Оно было большим, расположенным на самой окраине Москвы, где-то за Рязанским проспектом. Автобус долго колесил между безрадостными пятиэтажками и чахлыми деревцами, посаженными вдоль дороги. Для того, чтобы добраться до Колиной могилы, надо было пройти по аллее, и я с удивлением замечал тут и там белеющие памятники на свежих могилах ребят, погибших в Афганистане. Количество могил явно не соответствовало бодрым официальным сводкам, согласно которым за все время ведения боевых действий в братской республике погибло не более ста человек.

Коля лежал под маленьким обелиском с красной звездочкой. Я постоял около окрашенной черной масляной краской ограды, в последний раз попрощавшись с ним, потом закурил сигарету, и вышел с кладбища через случайно обнаруженную мной ржавую калитку, выходящую на стройку. Экскаватор, рыча и чихая черным дымом, поднимал ковшом замерзшую землю, и мне пришлось перепрыгивать через бетонные трубы и вырытые траншеи.

За стройкой, на первом этаже кирпичной пятиэтажки, располагался винный магазин, и тогда я впервые в жизни распил бутылку с совершенно незнакомыми мне до этого мужиками. Выпитое подействовало на меня, и, уйдя в глубь жилого квартала, я сел на скамейке около детской площадки, и закурил. Незнакомая мне жизнь медленно текла вокруг, из подъездов выходили люди, тянулись из магазинов женщины с сетками. Район этот был безрадостным, запущенным и навевающим тоску.

– Не подходи, не подходи к нему, Катя, – вдруг истерически вскрикнула женщина. – Алкоголики проклятые, больше им сидеть негде.

Я поднял голову. Широкая, не по летам расплывшаяся женщина с бессмысленным лицом поставила на соседнюю скамейку сумку, из которой торчала покрытая глиной морковь. Рядом с ней женщиной стояла девочка с куклой, одетой в выцветшее ситцевое платье.

– Я вам что, мешаю что-ли? – Неожиданно злость поднялась во мне. – И с чего вы взяли, что я пьян?

– Ты у меня повыступай, – баба перешла в наступление. – Сейчас мигом милицию вызову, заберут в вытрезвитель, и дело с концом! А ну, вали отсюда!

– Никуда я не пойду, – рассудком я понимал, что связываться со скандальной бабой глупо и смешно, но меня начал бить нервный озноб, мне стало обидно за Колю, лежавшего в полукилометре отсюда, будто кто-то осквернил его память. – Вы не имеете права меня оскорблять, а тем более прогонять отсюда. Ребенка бы постыдились!

– Катя, пойдём отсюда, – баба решила со мной не связываться. Она еще что-то зло прошипела в мой адрес через плечо, и на душе стало совсем паршиво. Я встал, и, доехав

до метро, сел в вагон, идущий в центр, вылез на Пушкинской площади, и спустился к Кремлю, пытаюсь раствориться в толпе, шумящей и затекающей потоками в магазины. Потом я свернул на Герцена и, дойдя до Тверских ворот, углубился в любимые кварталы, обойдя их несколько раз, пока не выскочил на Садовое кольцо, и, наконец, поехал домой. Город обтекал меня, я не мог включиться в жизнь, словно смотрел кино, в котором сам играл главную роль.

12.

Через десять лет, голодной зимой 1990 года я уезжал из Москвы. А день в день ровно через четверть века, будто было в этой десятичной системе счисления дней и лет мистическое содержание за пределами лунных и солнечных циклов, я летел домой над безлюдными территориями королевы Виктории, черными водами океанов, замерзшей Гренландией и фиордами Норвегии.

Следом за Норвегией на мониторе «Боинга» показался Стокгольм, через несколько минут – Петербург, за ним почему-то Тверь, и тут же Шереметьево. Внизу светилось электрическое кольцо, и я понял, что вижу кольцевую автодорогу. И еще я понял, что Москва ужасно маленькая. Целая жизнь, проведенная между микрорайонами, от Речного вокзала до Останкино и Крылатского, была как на ладони, от телебашни до Кремля и Чертаново.

В центре города розовыми полосками призрачно светились щупальца наших старых траекторий, расползающиеся на окраины. Одно из щупалец выползло в район «Октябрьского поля», мы тогда ходили на день рождения к приятелю, и опознав этот тусклый след я улыбнулся.

Неожиданно я увидел яркий огонек, светившийся в районе моего детства... И еще один, и еще. Город блистал огоньками прошлого, как новогодняя елка.

Моя школа была оранжевой. Высоцкий был слегка нетрезв, гитара его была расстроена, он матерился и бормотал что-то вроде «Сейчас, ребята, сейчас все будет хорошо».

Потом он начал играть. Аккорд, еще один.

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной».

Он сбился, опять начал настраивать гитару. За окнами актового зала средней школы падал снег.

Красными посадочными огнями сверкали Большой, МХАТ, Садовое кольцо, Таганка, Площадь Ильича, Шоссе Энтузиастов, переулки и улицы, квартиры и подъезды.

Один из огоньков был совсем близко и полыхал бенгальским огнем. Внутри призрачной сферы обнаружился давно исчезнувший буфет в старом Шереметьево, вечное лето и запах скошенной травы, бензина и навоза. За прилавком стояла полная буфетчица в белом фартуке. Когда-то отец привозил меня сюда на нашей старенькой «Победе» и поил безумно вкусным яблочным соком из стеклянных конусов, если кто еще помнит эти киоски.

Рядом Веничка Ерофеев, с головы до ног перепачканный подмосковной глиной кряхтел и опохмелялся томатным соком, пытаюсь выскрести из стакана кристаллическую соль. Было это в 1967 году. Тогда, в детстве, я не знал, что это он, обычный работяга, прокладчик кабеля. Да и до сих пор не знаю, он ли это был, но кто еще в те годы мог сказать «Эй, слушай, мужик, ты вроде человек хороший, может быть подскажешь, как мне до Кремля дойти?»

Посадочные огни становились все ярче. Земля светилась, я видел себя в детстве, когда родители возили меня по дорогам вдоль Шереметьево, излучину речки, в которой поймал первую свою плотвичку и лесные опушки, на которых собирал сыроежки.

Розовые туннели окутали меня и я вдруг понял, что любовь к родине так же иррациональна как и любовь к женщине. И объяснять почему любишь ту, а не другую – занятие неблагодарное. У каждого эта любовь своя, и бывает, что и единственная. Но сердцу и тем более душе не прикажешь.

КОНЕЦ